

К. ФЕЛЬДМАН

ПОТЕМКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

(14—25 июня 1905 г.)

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА

С приложением статьи В. Бухгольца
„ПОТЕМКИНЦЫ В ГЕРМАНИИ“



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД

О Г Л А В Л Е Н И Е.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВОССТАНИЕ И СДАЧА „ПОТЕМКИНА“.

	Стр.
I. Накануне	5
II. Восставший броненосец на рейде	9
III. Нарыв восстания	12
IV. „Потемкин“ в Одессе	22
V. Бомбардировка Одессы	33
VI. Восстание на „Пруте“	38
VII. Встреча с эскадрой, Присоединение „Георгия“	49
VIII. Измена „Георгия“	58
IX. Дорофей Кошуба	62
X. В Румынии	64
XI. Сапжаны „Потемкина“	65
XII. В Феодосии	70
XIII. Сдача	74

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

АРЕСТ И ПОБЕГ.

I. На гауптвахте	79
II. Пересылка в пловучий тюрьма „Прут“	84
III. В сепараторской тюрьме	90
IV. На военной гауптвахте.—Побег	96
V. На воле	107
VI. Заключение	112
Приложение: Потемкинцы в Германии.—В. Бухгольца	127

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВОССТАНИЕ И СДАЧА «ПОТЕМКИНА».

I. НАКАНУНЕ.

Вдоль деревянной, не отстроеной еще эстакады Пересыпи, рабочего предместья г. Одессы, неся, перепрыгивая с балки на балку, молодой парень. Каждый прыжок его над водяными ямами был опасным акробатическим номером; но парень привык, очевидно, к этим упражнениям. Он прыгал легко и уверенно, откидывая назад при каждом прыжке спадавшие на лоб длинные черные кудри.

Стоявший на посту городской долго смотрел ему вслед и, наконец, сплзнув, выругался: «Вот чорт докматый», отдав, очевидно, эти восклицания дань уважения ловкости удалявшегося парня.

Между тем, парень, достигнув таким образом первого высокого закоптелого дома, остановился и, оглянувшись вокруг себя, крикнул: «Ива-а-аи Про-хо-оров!».

Из окна третьего этажа высунулась голова старого рабочего. — Завод Гена, собирайся,—бросил ему парень и пошмыгал дальше, останавливаясь у каждого дома и оповещая кого-нибудь из рабочих о созываемой сходке.

А из черных домов выходили рабочие и, созывая соседей, направлялись к заводу.

Это было утром 15 июня 1905 года.

Пересыпь бастовала уже несколько дней.

Первый вал революционного 1905 года докатился в железобетонные кварталы рабочего города Юга: крепкий пьянящий угар, задушая привычные запахи моря, вливал новье, неведомые до сих пор чувства и силы в сердца людей. Люди в один час сбрасывали с себя цепкую паутину будничной жизни, ломали одним взлетом мысли годами сложившуюся привычку к повиновению; действия и события стали принимать вдруг неожиданную ясность, четко обозначалась непримиримость вещей и миров.

Еще не так давно, на другой день после 9 января, социал-демократические организации гор. Одессы тщетно пытались поднять забастовочное движение: рабочие оставались глухи к их

лись. Снова посыпался дождь камней. Толпа отбила своих раненых и мертвых.

Раненых отравили в больницу, а мертвых понесли по улицам города. Теперь не только живые, но и мертвые звали к борьбе...

Восстание было поднято...

Утром 14 июня оно захватило уже весь город: забастовка стала всеобщей. Уличные бои вспыхивали в разных частях города, баррикады воздвигались на Пересыпи и в Дальничском районе, в центре и в порту. Шум, говор, выстрелы, песни — оживление большого революционного дня носилось над городом. В конце дня на улицах вывела страшный массовый террор: в 6 часов вечера были убиты два пристава и один околоточный, отличавшиеся утром своими расправами; их имена передавались толпой из уст в уста, из одного конца города в другой; приговор над ними созрел и проносился безмолвно на улицах революционным народом, и тысячи мстителей без предварительного сговора стерегли их на каждом углу.

Забастовка сразу приняла характер восстания. Настроение росло, масса революционизировалась. И отовсюду доносилось властное требование: «Оружия!».

А его не было.

Поздно вечером на Пересыпской эспланаде состоялось районное собрание, на котором мы подсчитывали свои силы. Для всех было ясно, что если завтра мы не удовлетворим требования масс, если не дадим рабочим оружия, — движение остановится. Но где взять оружие? Несколько бомб и полсотни старых револьверов — вот весь арсенал революционных организаций. Войска одесского гарнизона, правда, не были настроены враждебно против рабочих; это было видно уже из того, что царская администрация, повидному, решительно избегала высылать их против рабочих, — во всех столкновениях пока действовали только конные волжеские и казаки, и это, несмотря на очевидную несправедливость последних. У нас имелись точные сведения, что в город высланы войска из других местностей, между прочим, с русской границы.

Что могли мы противопоставить им?

Было до боли очевидно, что такой могучий подъем пролетариата батальон состоял из 600 пехотинцев, да и в активном выступлении его у нас не было твердой уверенности.

Только теперь стало ясно, какую ошибку мы совершили, не поставив до сих пор на прочных основах работу в войсках.

Было до боли очевидно, что такой могучий подъем пролетариата большого промышленного города должен упасть из-за нашей догмы объединенности. Когда мы передали пересыпским рабочим записку объединенного совещания социал-демократических организаций: «Завтра с утра все в центре города», — мы уже знали, что назначенная там демонстрация будет бедливой весной этого восстания.

Когда вечером, возвращаясь домой, я проходил неподалеку от Соборной площади, раздался оглушительный взрыв. Я бросился бежать по направлению взрыва, но всюду наткнулся на казаков патрули. Они гнали народ, окружив почти сплошной цепью Соборную площадь. От бежавших людей я узнал, что кто-то бросил бомбу в полицейского. В этой толпе бегущих среди ночи людей, в диком гиканье мчавшихся по плохо освещенным улицам казаков, в тревожном шопоте перепутанного обывателя чудилась грозная туча революции, нависшая над мягким покровом южной ночи.

Город засыпал тяжело и тревожно.

II. ВОСТАВШИЙ БРОНЕНОСЕЦ НА РЕЙДЕ.

На другой день, в 10 часов утра, я пробрался к Екатерининской площади. Я спешил на квартиру моего приятеля, тогда анархиста, ныне члена ВКП, Марка Михайловского. Накануне, отравляясь в Пересыпский квартал, я переоделся у него в костюм рабочего; теперь, в виду предстоящих событий в центре города, из тех же конспиративных соображений, мне надо было облачиться в свой костюм городского франта.

Улицы были полны оживленной толпой, двигавшейся по одному со мной направлению; по мере приближения к приорскому Николаевскому бульвару толпа все увеличивалась. Какой-то ропот, всегда присущий толпе, когда она узнает о чем-то новом и неожиданном, несся по улице.

В квартире Михайловского я должен был получить также инструкции от объединенного совещания о готовящейся демонстрации; вместо них я узнал ошеломляющую по своему значению и неожиданности новость: в порт прибыл броненосец; членство и неожиданности новость: перебила офицеров, прикнула к революции; в порту — палатка с трупом убитого во время восстания матроса.

Не веря этим словам, я побежал на Николаевский бульвар, и никогда не забыть мне той минуты, когда я увидел на рейде изумительное видение первого революционного броненосца.

Туда вместе со мной бежала толпа, радостная, восторженная и смелая. Порт был уже свободен от полиции; из всех районов стекались сюда нереволюционные колонны манифестантов. Пробираться среди плотной стены тысячи людей было почти невозможно, но мои студенческая фуражка проложила мне дорогу. Возможно, но мои студенты, идеали, искали руководителей; увидев Никто не знал что делать; пропустили.

меня, расступились, пропустили.

Наконец, я добелал до палатки. В палатке лежал труп убитого матроса; на груди была приколота записка следующего содержания:

и до военно-морского суда, выбили все окна. Вышел дежурный горняк, стал трубить тревогу. Вырвали рожок, положили его. В одном месте послышалась звуки «морсельзы», — то организованно удалось сплотиться. Слышатся крики: «На арестный дом! Освободить товарищей! В город, в город! Бери винтовки и в город!». А могучее «ура» не перестает греметь. Свист, стук и крики сливаются в одно. Вот забил тревогу в соседнем пехотном Брестском полку. Где-то близко раздались особенное, короткое, сухое «тррра!». Это дали залп будущие унтер-офицеры с крейсера «Память Меркурия». А грозное, могучее «ура», звон стекла, треск пехотного барабана не прекращаются. Вот совсем близко от нас показались белые огоньки, и снова посылались характерное «тррра!». И что-то жалобно-жалобно над головами завизжало. То опять будущие унтер-офицеры дали залп по своим братьям-матросам. Шум смолк. Стал разбегаться по экипажам. Кое-где слышны были возгласы: «За винтовки, мы им дадим, проклятым, как стрелять в своих!». Но никто не слушал. Снова прорезало ночную мглу и раскатилось тысячами отголосков в соседних горах характерное, сухое «тррра!». Кто-то жалобно вскрикнул. То опять дали залп и на этот раз убили такого же несчастного, забитого матроса, каковы и сами будущие унтер-офицеры. Паника усилилась... Через несколько времени, когда все матросы были в экипажах и во дворе достаточно было патруля, приставленного с кораблей, пришли офицеры. Как принижено и жалко выглядели они, просто противно было смотреть на них. Зашел к нам немчан Высоковос, командир четвертой роты и начал: «Братцы, что вы делаете? Теперь такое время, царь-батюшка, царица-матушка и я плечу, а вы?». «Пошел вой, краснопойца!» — крикнул ему кто-то; на всех лицах написана злоба. Мичман ушел. Во дворе его кто-то угодил камнем в бок. Часов до 11-ти кое-где еще раздавался звон разбиваемых окон: то кто-нибудь из патруля тайком пустит камень в окно, либо изнутри экипажа кто-либо запустит доской. Изредка раздавались залпы, вероятно, для отпугивания. На другой день пошли осматривать дело рух своих. Везде валялись обломки столов, рамы, битое стекло, пух из офицерских подушек. В экипажах почти на одно целого стекла. Офицерские квартиры и пограничные суда представляли ужасное зрелище. В некоторых квартирах офицеров совсем выбиты рамы, и только беспомощно бьются занавеска, в других рамах застряли пудовые камни. В суде на одного целого окна. Ворота выломаны, устои для ворот тоже. Все вместе выглядело, как будто выдержало жаркую бомбардировку... Через несколько дней начались аресты предполагаемых зачинщиков, потом суд над ними, и в результате казнь и арестантские роты¹.

Это первое массовое движение, хотя и вылившееся в самую бессознательную форму, имело большое значение, так как оно

¹ «Социал-Демократ», 1905 г., № 13. «Революционная борьба в Черноморском флоте». Воспоминания бывшего матроса. Глава 6.

приучило матросов к мысли о возможности протеста. А тут наступило 9 января, гром которого долетался и до матросского уха. Работа усилилась; организация матросов все расширялась, удалось уже почти на всех кораблях создать организованные группы матросов.

Когда волны революционных событий стали подниматься все чаще и выше, когда поднялось грозное аграрное движение крестьянской массы, повсюду среди этих групп стала зарождаться и мысль о восстании всего флота. В то время как среди громадной, разбросанной по всей России сухопутной армии русский царизм всегда мог найти несколько верных полков и с помощью их задуть солдатский бунт, успех матросского восстания зависел от поведения небольшой сравнительно части военных сил России, от Черноморского флота. Каждый побунтовавшийся корабль представлял самостоятельную силу — крепость с огромным запасом боевого материала. Никакие сухопутные войска не могли справиться с ней; раздвинуть ее можно только с помощью таких же морских гигантов, наполненных верными матросами.

Но матросам, жившим всем в одном городе, сталкивавшимся ежедневно друг с другом, ясно было, что все товарищи недовольны, что все товарищи сочувствуют восстанию, что ли один корабль не будет действовать против восставших. И потому-то психологически понятно, что при революционном настроении Севастопольской казармы, матросы могли сделать тот шаг, на который так тяжело и трудно было решиться солдатам.

Севастопольские товарищи хорошо поняли особенность положения. Они поняли, что, сделав одновременно решительные шаги на всех кораблях, они легко смогут поднять всеобщее восстание. И сообразно с этими соображениями, они составили план его.

Восстание должно было вспыхнуть на илереях эскадры. Ночью, в заранее условленный час, на всех кораблях участники заговора бросятся на спящих офицеров, свяжут их, сорвут погоны и объявят республику. Когда вчерашние царки будут ввиду валившиеся поверженными в прах, когда матросы увидят, как легко было справиться с теми, кто так долго одурманивал их, выросшая накинченная злоба, все они присоединятся к восстанию, и мощная боевая сила — эскадра — будет в руках революции.

Главным препятствием для осуществления этого плана был «Потемкин». На нем почти не велась агитация, команда его считалась самой отсталой, а это был самый сильный броненосец Черноморского флота, который мог погубить все дело восстания. Но вот и здесь стала заревать мысль о бунте. За несколько дней до выхода а море «Потемкина» Севастопольский комитет социал-демократической партии получила письмо от команды «Потемкина», в котором она спрашивает, не принесет ли она вред революции, если поднимет восстание. Не желая разединять действия матросов, комитет просил потемкинцев не предпринимать ничего до начала действия на других броненосцах.

«Потемкин» вышел в плавание. Состав его команды не особенно благоприятствовал восстанию; почти половина матросов состояла из новобранцев последнего года. Они только-что пришли из деревни, где тогда еще не началась аграрное движение; суровая дисциплина оглушила и прибила их, а революционная пропаганда еще не захватила их; систематические издевательства казарменного строя еще не родили в них такой глухой ненависти к офицерам, какая была у старых матросов. В то же время в них не было еще и матросской удали и презрения к смерти, составлявших неотъемлемую принадлежность старых матросов. Остальная масса также наполовину состояла из матросов призыва последних годов, и только небольшая группа, человек в сто, состояла из старых матросов. Эта группа и представляла самую решительную часть команды: из нее вышли члены «комиссии» и все вожди восстания. Итак, матросы «Потемкина» далеко не были самым революционным ядром Черноморского флота. Вот почему тем сильнее подчеркивается революционное значение Потемкинского восстания.

«Потемкин» вышел в плавание. Команда слышала что-то о готовящемся восстании флота; среди матросов ходили слухи, тревожные слухи; они вспоминали о социал-демократических прокламациях, речах; вспоминали хорошие слова о царстве свободы и труда. Вспоминали также и жизнь в деревне, — жизнь, полную горя, тоски, лишений и невзгод; думали и о тех, кто делал их жизнь невыносимо-тяжелой, думали они и о казарме, и об офицерах, паразитах-дворянах, как злой рок преследующих их тут так же, как и в деревне. Вспоминали они и о тысячах рабочих, убитых в Петербурге; слушали рассказы определенных на «Потемкин» матросов — героев Чесмыльи, которых теперь так же, как и их, били и грабили те же офицеры, которые пустили ко двору сотню братьев их. Слушали и думали.

На Одессе приходят вести, что рабочие и крестьяне поднялись и борются против царских слуг, что они изыскивают в борьбе сердца собственных братьев в солдатских куртках, бессмысленней, гнет ужасней. Снова приходят слухи о готовящемся восстании матросов, но прибитая мысль не смеет еще перейти страшную черту, и рука, направленные до сих пор офицерами в народную гущу, не смеют еще обратиться против самих кого-нибудь из масс, — и последние не замедлили явиться.

Привезли мясо для изморенных, измученных людей; оно было полно червей, и от него несло отвратительным запахом¹. Ропот ходит до ушей начальства, не привыкшего считаться с желаниями

¹ Привезли эти стволы лично выдвиг, во приезде на броненосец, остатки этого отвратительного мяса.

Судовой врач исследует мясо и находит, что оно прекрасного качества; командир дает приказание приготовить борщ из червячьего мяса с отвратительным запахом. Безумец, ослепленный силой штыка, он не видит, что стоит на вулкане, готовом взорваться.

Прозвонили обед. Молча уселись матросы на своих местах, взяли по куску хлеба и ели его, заливая водой. Никаких требований, никаких протестов.

Но привыкшие к наглой и безграничной власти, всю жизнь топтавшие в грязь достоинство матросов, насильники не могут перенести и этого молчаливого протеста.

Гремит барабан, созывающий матросов на шканцы¹; быстро собираются они и скоро стоят уже, выстроенные в ряды. Командир становится на кнехт² и обращается к матросам с речью.

— Знаете ли вы, чем карается бунт на военном корабле? Видите эту реву? Все вы будете висеть на ней. Поэтому не бунтуйте и кушайте борщ; кто хочет есть борщ, — переходите направо!

Но только 12 человек последовали этому приказу; остальные молча стояли. Ни один звук не раздавался в этой толпе, только глаза всех злоеже блестяли.

И «старый волк» устранился; готовое сорваться с уст его грозное приказание о расстреле остановилось.

— Ну, давай, — ответил он, — не хотите есть борщ, — не надо. Я запечатаю его в бутылку и передам дело на рассмотрение главному командиру; пусть он рассудит нас. — С этими словами командир сошел с кнехта и дал приказ команде разойтись.

Но тут выступил новый палач — старший офицер Гиляровский. — Стой! — крикнул он уже начавшей расходиться команде. — Бошман, вызови караул наверх!

Раздался свист, послышался топот бегущих матросов, и через минуту караул стоит против безоружной команды. Перед видом заржавленных ружей, блестящих штыков, души самых смелых содрогнулись.

— Кто хочет есть борщ, — переходите направо, — повелительно звучит голос Гиляровского, рассекая тишину, повисшую в воздухе.

Передний ряд дрогнул... и перешел на указанное место; за ним вторая ряд, и скоро уже вся команда двинулась туда.

Гиляровский торжествовал, но этого мало было насильнику: он хотел раз навсегда отбить у этих «скотов» охоту чувствовать себя людьми. Соскочив вдурт с кнехта, он бросился к команде и загородил дорогу последним тридцати матросам.

— Стой! Эти не хотят есть борщ! Воцман, принеси брезент, а вы расходитесь, — прибавил он, обращаясь к команде. Но матросы стояли, не двигаясь; лица их были бледны, глаза с ужасом глядели на товарищей, которых будут сейчас расстреливать, как

¹ Шканцы — открытые площадки на носовой части корабля. На ней находится башня с двумя 12-дюймовыми орудиями.

² Кнехт — деревянный столбик для защиты каната.

баранов; где-то раздался плач и сдавленное рыдание. Но ослепленные страхом, они не смеют еще поднять руки против убийц.

— Ну, что же не идете, собаки? — снова кричит Гиляровский.

Привесли брезент, накрыли матросов.

— Караул, пла!

Все притихло, ожидая чего-то ужасного... Но караул стоит неподвижно.

— А бунт? — кричит Гиляровский. — Стойте, я вам покажу, как бунтовать.

С этими словами он бросился к ближайшему караульному и выхватил у него винтовку.

— Ребята, хватай винтовки! Что на них смотреть, окаянных! — раздавалось в ту же минуту в толпе матросов.

Команда только ждала этого сигнала; словно ток прошел через нее: она зашаталась и с ревом бросилась в батарейную палубу¹ за винтовками.

Через минуту корабля нельзя было узнать. Масса людей бежала, суетилась; могучие «ура», крики «долой самодержавие», «бей кровопийцу» неслись с батарей; где-то начали стрелять. Только на шканцах было пусто; пять, шесть офицеров стояли тут бледные, не понимая еще хорошо, что случилось.

Первыми выступили из батарейной палубы матросы Матюшенко и Вакунничук. Матюшенко побежал за убежавшим лейтенантом Непкожевым, стреляя в него на ходу. Вакунничук без винтовки бросился к Гиляровскому, целившемуся в матросов. Желая спасти товарищей, он схватил винтовку за дуло и с силой вырвать ее из рук Гиляровского. Последний выстрелил, и Вакунничук упал навзничь в тот самый момент, когда винтовка была уже в его руках. В это время победил Матюшенко и выстрелом из винтовки ранил Гиляровского; тот зашатался и упал в воду. Но, уже падая в воду, этот безумец еще не понимал, что происходит.

— Я тебе дам, — крикнул он Матюшенко. — ты у меня будешь знать, как команду бунтовать! Я тебя знаю! Я тебя запишу!

А на корабле царит хаос и возбуждение. Крики «долой самодержавие», «ура» перемешиваются с залпами матросов и воплями кричают огор.

В одной рубашке выскакивает на палубу командир Голиков, селет на колени и униженно просит о пощаде. Но слишком он им; возмущенное достоинство требовало мести за все унижения, и Голиков пал жертвою народного суда.

Вдруг кто-то крикнул, что один из офицеров бросился в минное отделение, чтобы взорвать броненосец.

¹ Батарейная палуба — закрытая толстой броней надстройка на середине броненосца. В ней находятся взоры в машинные и минные отделения.

Слепая паника овладевает матросами; многие из них бросаются в воду прямо под выстрелы, которые были направлены командой в плывущих офицеров. Самые решительные бросаются в минное отделение и вытаскивают оттуда лейтенанта Тона.

— Если хочешь быть с нами, сними свои погоны, — обратился к нему Матюшенко.

— Дурак, не ты мне их дал, не ты их снимешь, — отвечал он и выстрелил в Матюшенко из револьвера.

Пуля пролетела мимо, и в ту же минуту Матюшенко застрелил его. Это был единственный офицер, умевший умереть за свою честь.

Между тем некоторые офицеры доплыли до миноноски, и последняя стала вдруг странно маневрировать. Снова на броненосце паника: кричат, что миноноска хочет взорвать корабль. Немедленно заряжают большую пушку и направляют ее на миноноску, но оттуда матросы дают сигнал, что у них нет мины, и этим спасают себя.

Затем они арестовали офицеров и привезли их на корабль. Но уже раздались голоса против дальнейших убийств; уже прошел первый гневный взрыв, долголетия ненависть нашла себе выход, и кто-то крикнул: «Довольно убийств! Пусть не говорят, что мы похожи на наших „дродов“». Все матросы подчинились этому требованию.

Стали отыскивать поприятнившихся в углы офицеров. Откуда-то приволокли священника. Пьяный угар сошел с лица этого почтенного, обычно нетрезвого мужа; он испуганно водил кругом глазами и смиренно бормотал о каком-то согласии с матросами. Его отправили под арест в офицерскую. Доктора Смирнова нашли где-то застрелившимся; он едва дышал и просил матросов дать ему спокойной умереть. Труп его выбросили в море.

На шканце¹ зашли инженер Коваленко, мичмана Калужного и еще одного офицера. Нескольких офицеров нашли в адмиральской. Со всех сняли погоны, посадили в офицерскую кают-кампанию и приставили стражу.

Появились и Алексеев.

— Не убивайте меня, я всегда с вами, — обратился он к команде.

Алексеев действительно всегда обходился хорошо с матросами, и последние только сняли с него погоны.

Наконец, покончили с разуружением старого порядка; теперь надо было создавать новые формы, новую организацию. Привели в порядок корабль и составили команду.

Впервые свободные речи появились на этом корабле, где до сих пор раздавались лишь грубые окрики офицеров и сдавленные проклятия униженных матросов. Говорили о борьбе за свободу, о поддержке восстания всей эскадры, об одесском вос-

¹ Шканц — железное приспособление, служащее прицелом для стрельбы из орудий во время маневров.

станции, о необходимости идти туда, до присоединения эскадры. Но пока она не появится, все матросы будут оставаться на корабле, который даст им могучее убежище. И прежде всего нужно выбрать начальство. — не то начальство, которое мучило и унижало матросов, а начальство, состоящее из товарищей, любимых и уважаемых. Надо, чтобы на броненосце были порядок и дисциплина, поддерживаемые добровольным согласием и любовью к делу.

Избрали тридцать матросов, из которых составила комиссия — орган власти на корабле. Она заведывала всеми действиями матросов, бесконтрольно распоряжалась всеми деньгами броненосца, могла издавать приказ об аресте и вести переговоры с властями и организациями. Словом, она могла быть полномочным органом корабельной власти. Но фактически она не была таковой: только в первые дни она решала все по собственному усмотрению. В последнее же время ее влияние сильно упало. Но и в дни наибольшего авторитета своей власти она не решала сама наиболее крупных выступлений, а передавала их на рассмотрение всей команды. В последние же дни общие собрания устраивались все чаще и чаще.

Комиссия при этом рассуждала вполне правильно: если мы хотим, чтобы масса стойко стояла, чтобы она сознательно относилась к своим обязанностям, нужно привлечь ее в управление кораблем; нужно воспитывать ее самостоятельность и приучать ее к мысли о необходимости самой стоять за себя, быть своим собственным хозяином.

Поэтому и заседания комиссии были гласные, и на них всегда присутствовало 100—200 человек. Эта масса, бывшая на заседаниях, не относилась пассивно к ним; она выражала свое одобрение или неодобрение речам ораторов, часто высказывала свое мнение и почти всегда голосовала.

Таким образом, фактическим руководителем корабельной жизни была не только комиссия, но и значительная и наиболее сознательная часть команды.

Исполнительную власть вручили припоручику Алексееву и старшему офицером.

В своих первых революционных шагах бессознательная масса всегда руководствуется двумя побуждениями: революционным инстинктом и старыми традициями. Первый заставляет ее порвать с прошлыми и создать новые учреждения; власть вторых требует себе дань. История дала немало таких примеров.

«Потемкин» не представлял в этом отношении исключения: массу, отдава в то же время дань старым традициям; они назначали себе в командиры судно должен офицер, и матросы Я говорю так вопреки тому мнению, что это было необходимо, что никто, кроме Алексеева, не умел вести корабль. Это

противоречит фактами: броненосец всегда вел не Алексеев, а матросы. Алексеев же почти не заведывал им, а если брал на себя командование, то только для того, чтобы внести расстройство и дезорганизацию в действия матросов.

Это было ничтожество. Испугавшись, чтоб его не убили, он стал убеждать матросов в своей всегдашней с ними солидарности; из этого же страха он принял командование кораблем; но, сделав этот шаг, он стал бояться другого возмездия — наказания правительством. И тогда он замыслил измену восставшим, но, как ничтожество, не решился действовать открыто и лично. Он действовал исподлобь и через других. Когда на собрании обсуждался вопрос, стрелять или не стрелять в город, он не проворил ни одного слова, несмотря на усиленные просьбы матросов высказаться. Но однажды, в минуту смуты, он пустил через кого-то предательское слово «Румынии». Боясь командовать судном, он не решился открыто отказаться от этого и сказался больным. Но в тот момент, когда подходила эскадра, он принял командование в надежде предать нас.

Это не был сознательный провокатор (в роде доктора Голоденко), оставшийся на корабле специально для того, чтобы предать команду, — для этого он был слишком ничтожной личностью. Но он действовал предательски, чтобы спасти свою маленькую жизнь. И если б история не сыграла с ним такой шутки, сделав его руководителем восстания, он остался бы, вероятно, честным человеком. И, глядя на его натуршку, несколько вспоминаются бессмертные слова Э. Золя: «Какие подлецы эти честные люди!»

Такому ничтожеству вручили власть матросы. Им необходимо было, чтобы власть находилась в руках офицера, чтобы таковой был вождем их. Они невидели «кожа», — так называли матросы офицеров, — но все-таки авторитет их был силен. Военные долгие годы казарменной службы предраспустили не так легко ругаться; они имели таинственную силу над людьми даже тогда, когда последние уже восстали против них.

Алексеев и Мурзак должны были давать отчеты о своих действиях комиссии и исполнять все ее приказания. На самом же деле эти господа в самые решительные минуты оказывались удивительно бездейственными, нерешительными и тем вносили сильную дезорганизацию в ряды матросов. А между тем, от этих решительных минут зависел исход восстания. Чтобы исправить эту слабую сторону нашей организации, я предложил избрать эту слабую сторону нашей организации, я предложил избрать из среды комиссии исполнительный комитет, который заведывал бы вместе с нашими командирами исполнительной властью. Мы провели туда самых преданных революция людей. Но они были лишены инициативы, и власть все-таки находилась в слабых руках.

Для того, чтобы победить, нам нужен был вождь — сильный, решительный человек из морской среды.

Его не было.

Покончив, наконец, с организацией новой власти на корабле, матросы решили отправиться в Одессу под защиту революционного народа. Собственно, они не понимали ясно, почему они идут в Одессу, что ждет их там. Бессознательно шли они туда, повинная революционному инстинкту, говорившему им, что там народ бунтует и окажет им помощь. Это был тот же инстинкт, который заставил их выше поднять свои головы, лишь только услышали они о бунте в Одессе.

IV. «ПОТЕМКИН» В ОДЕССЕ.

— С броненосца нам сходить нельзя; вот эскадра придет, — тогда другое: и десант высадим и город возьмем; а сейчас нельзя.

Эскадра! Как маяк в ночи, это слово заколодало мысль матросов; они — только передовой отряд эскадры, их восстание — только первый авангардный бой; без эскадры они — ничто; с эскадрой они — несокрушимая сила. И так же, как велика эта сила, так же несокрушимо убеждение, что эскадра присоединится.

— В таком случае вооружите народ. У вас есть пулеметы, в случай боя с эскадрой ваша боевая способность не уменьшится, если вы отдадите народу свои пулеметы и несколько штук мелкого калибра. Отдайте это оружие рабочим, они еще до прихода эскадры захватят городок.

И снова холодный блеск в глазах и снова упорное:

— Без эскадры нам нельзя; мы вместе со всем флотом; столько ждали нас, — подождете еще несколько дней.

Это была страшная минута, близкая к разрыву между мною и комиссией. Мы стояли друг против друга, каждый со своей правдой: для меня эскадра была неизвестной величиной, далекой, неясной мечтой; для них, этих тридцати моряков, возглавлявших потемкинское движение, эскадра была составной частью их революционного действия. Для меня реальностью были лишь эти революционные массы там на берегу, с которыми три дня и ночи в баррикадах; и то, что было для меня реальностью, то было для них, загниволизированных еще солдатской муштрой, подозрительным и ненадежным миром «вольных».

Еще одно движение с моей стороны, — и глухое недоверие положит непроходимую между нами пропасть.

Мне пришлось отступить.

Работа среди рабочих масс и весь богатый уже опыт революционного движения 1905 года научили меня выдержке и терпению. Я знал, как быстро революционные события изменяют положение вещей. 8 января петербургский пролетариат был весь еще охвачен гапоновщиной; 8 января, вечером, на рабочих собраниях в Петербурге еще некто слушал социал-демократов; 9 января, на рассвете, петербургский пролетариат выступал еще с иконами, хоругвями, веря в царя; и тот же день, вечером, он

разбил иконы, проклял свою веру в самодержца и с жадностью слушал революционеров.

Я знал, что события неумолимой логикой своей толкнул матросов на путь береговой революции, и я понимал, что в эту минуту, когда матросское восстание сойдется с рабочим, мы, революционные социал-демократы, станем пожелателями ее. Чтобы не погубить этого часа, я должен был остаться здесь и вести свою линию в обстановке чисто военного восстания. Разорвать сейчас же с матросами «Потемкина» только потому, что их сознание не доросло еще до нашей революционной мысли, было бы равносильно революционному самоубийству.

И я остался... Но остался с тем, чтобы мертвой хваткой вцепиться в это дело, чтобы ежeminутно пользоваться каждым событием военного восстания, расширять его и звать матросов на берег, заставить их понять, что только с рабочим классом они сумеют свергнуть царизм.

Но как мучительно, как бесконечно тяжелы эти востану Тантаювы муки: пережить это бесконечно тягостную тоску по оружию, которую мы испытали накануне в Одессе, видеть эти тысячные массы, готовые дать решительный бой царизму, держать почти в руках эту грозную вооруженную силу восставшего броненосца, ясно видеть эту неповторимую, точно подаренную нам историей ситуацию, понимать, что одного нашего движения недостаточно, чтобы завладеть одним из важнейших русских ресурсов с богатейшими материальными и человеческими ресурсами, понимать, что каждая минута нашего бездействия смерти подобна, — и отказываться от этого дара истории, оставаться среди этих друзей-врагов, нашедших дивный ключ к революционной победе и не желающими отомкнуть им заветную дверь.

Мне и двум другим товарищам — Кириллу и Афанасию о них речь будет впереди) — пришлось прибавить на помощь всю нашу выдержку и революционный такт, чтобы определить нашу линию поведения, которая диктовалась двумя соображениями: неизменно стремиться к превращению Потемкинского восстания в береговую революцию и цепко держаться за наше положение на корабле, ни в коем случае не допуская разрыва между нами и матросами.

Агитация была нашим верхним союзником; необходимо было немедленно приступить к ней; я попросил созвать свободную от работ часть команды, чтобы высказаться перед ней, и поднялся наверх.

Удивительная картина раскрылась перед моими глазами. Десятки тысяч людей наполнили эстакады и набережную огромного одесского порта; по гигантской лестнице, соединяющей порт с оранной вышкой Николаевского бульвара и дальше вдоль по замечательных эспланаде Одессы спускались неисчислимые массы манифестантов с красными знаменами; тысячи шлопок проливали огромную поверхность гавани, — то одесский пролетариат совершал паломничество к революционному кораблю. Палан

Занятый агитацией среди матросов, я не присутствовал на заседании делегатов об'единенного совещания с потемкинской комиссией. Когда я зашел в адмиральскую, где происходило заседание, оно уже приходило к концу. Увы! Наши представители сдали позиции матросам,—сдали, как я узнал об этом после, без малейшего сопротивления. Они приняли безоговорочно план военного восстания, т.-е. согласились с матросами, что нужно жалеть присоединения эскадры. Я не понимал, как могли наши представители согласиться выступить из своих рук инициативу революционного действия; я не мог согласиться с ними, что успех восстания надо поставить в зависимость от присоединения эскадры, но я попал на заседание слишком поздно, чтобы снова поднять этот вопрос. А сколько надежд я возлагал на прибытие делегатов, на их властное решительное заявление к матросам от имени рабочей партии о необходимости открыть немедленные действия против береговых властей! И хотя было много шансов за то, что матросы не исполнят бы этого приказа, но такое заявление значительно облегчало бы дальнейшие действия той «тройки», которую наши представители оставили на корабле для руководства восстанием.

В эту «тройку», кроме меня, вошли товарищи Кирилл и Афанасий.

Кирилл (Бржезовский) заведывал до Потемкинских восстания РСДРП. Рослый, с окладистой русской бородой, с мягкими и приятными чертами лица, Кирилл обладал внешностью удивительно привлекательной рабочей массы. Его прекрасная русская речь, исключительно ясная и доступная прибавками, проникнутая яркими и в то же время доступными образами, делала из него первоклассного рабочего агитатора. Выходец из интеллигенции, он, однако, великолепно знал и понимал свою аудиторию и в простых, подчас грубых приемах его речи не чувствовалось никогда дешевой подделки интеллигентства под рабочего. И свою неизменную русскую оборотку он умел носить «по-настоящему»: так умел носить ее и в то время, как остальные подольники должны были шикарно одетого охранного отделения, для Кирилла его русская рубашка служила ного агитатора и хладнокровного и опытного организатора — был уверен удачен.

Впрочем, и Кирилл, и я своими выступлениями перед матросами отчасти успели уже завоевать их симпатии, и об'единенное совещание отчасти этим руководствовало, назначая нас на столь ответственные посты. Товарищ Афанасий—член Одесского комитета (большевиков)—имел за собой долголетний революционный опыт. Он много работал в военных организациях, был прекрасным организатором, превосходным тактиком.

Кирилл и Афанасий разделяли мой взгляд на дальнейшее развитие событий; поэтому, приняв на себя задачу, порученную нам об'единенным совещанием, мы заявили делегатам, что независимо от прибытия эскадры и ее будущей позиции, мы будем звать матросов на берег. Товарищи не возражали против этого; они заявили что вполне доверяют нам, и предложили нам действовать по нашему усмотрению; мы удовлетворили этим заявлением, не разобравшись тогда, что в сущности оно означало фактический отказ социал-демокр. рабочей партии от руководства восстанием, ибо все дальнейшие события на берегу ставились в зависимость от действий броненосца. Такие выводы, как это увидит читатель из следующей главы, и сделали фактически уехавшие товарищи из нашей беседы.

Одесские организации не только отказались в дальнейшем от революционных действий на берегу,—они не пытались даже снестись с нами и оказать нам помощь свежими силами для выполнения той тяжелой задачи, которая была вверена на наши плечи.

Жизнь военного корабля ни на одно мгновение не останавливалась на «Потемкине». Матросы, отказавшись покинуть корабль и сойти на берег, чтобы вместе с рабочими завоевать город, повиновались властному сознанию, что военный корабль со своими порядками, со своим удивительным механизмом, представляет несокрушимую силу, пока его механизм, раз заведенный, движется с безошибочной точностью. Утром грузили уголь, потом мыли палубу, чистили орудия, проверяли машины, дежурные стояли на вахте, караул на своих постах; вино пили в урочное время в положенной норме, и вахтенные строго следили, чтобы кто-нибудь не подошел второй раз к чарке; церемония поднятия флага продолжалась с обычной методичностью; отменены были вечерние и утренние молитвы.

Само собой разумеется, что вся эта дисциплина зиждилась не на наказаниях (они были совершенно отменены), а на сознательном и выдержанном отношении к своему делу. Великая требовательность и выдержка были характеризовать настроение этих матросов, отважно бросивших вызов самодержавию и гордо замкнувшихся в свое военное одиночество. И это было по-своему прекрасно.

— Эскадра!

Не знаю, кем было брошено это слово, но только сразу обнаружилась вся магическая сила, связанная с ним: все, кто не стоял на вахте, все, кто был свободен от работ, бросился к борту на башни, на вышки.

Тревога, однако, оказалась напрасной: то был только военный курьер, небольшое безоружное судно «Веха». И вместо ожида-

мой трагедии боя с эскадрой, через полчаса разыгралась пьесная, нашедшая матросов комедия захвата «Вехи» и разжалования ее перетрусивших офицеров.

Покуда спознали на берег офицеров с «Вехи», мы с товарищем Афанасием выработали программу нашего первого выступления на общем собрании команды, которое было назначено на 8 часов вечера. К этому времени на броненосце побывали уже депутаты от Измайловского и Донского полков и батальона таможенной охраны с извещением, что части их присоединятся к матросам, как только последние начнут решительные действия против города. Таким образом, мы могли уже обещать матросам реальную поддержку на берегу.

Наконец, кончили работы, спустили флаг, протрубили сбор. Команда собралась в батарейной палубе. В закрытом тесном помещении было душно и жарко; матросы разместились амфитеатром; в центре круга находился Алексеев, матрос Дымченко, Матюшенко, товарищ Афанасий и я. Собрание открыл матрос Дымченко — бесменный председатель этих общих собраний, никогда никак не избираемый и раз навсегда всеми молча признанный. Это был один из самых преданных делу революции матросов. В нем была какая-то наивная смелость и открытая честная вера в людей. И теперь не могу и вспомнить без теплого чувства его рыжого грудного голоса, говорившего свое неизменное: «Вот, товарищи, хороший человек хочет вам слово сказать; а ну-ка послушаем его. Он готов был броситься в огонь и в воду за этого хорошего человека, готов был за любую минуту отдать свою жизнь за общее дело; но этот мужественный солдат, которого мы провели потом в Исполнительный Комитет, лишен был никакой ответственности, которая лежала на нем; терпелся потому, что от его действия зависела жизнь товарищей. И он не способен был тогда на действия, идущие вразрез с настроениями массы. Он не мог быть вождя, а жизнь навязала ему эту роль.

Дымченко дал мне слово.

— Долой вольных! — раздались в ту же минуту голоса.

То кричали кондуктора, сверхсрочные матросы-специалисты, остававшиеся на корабле по волюному найму после отбытия воинской повинности. В фельдфебельском чине, кондуктора получали высокие оклады и были душой и телом преданы начальству. Неудивительно поэтому, что они составляли оплот контрреволюции на «Потемкине»; в то же время кондукторы оплат контрреволюции среди матросов, хорошо знали их; со многими из матросов было, опираясь на Алексея, быстро сформировались в хорошему словечу контр-революционную группу. И в то же время было, что кондуктора были тонкими специалистами своего дела; даже при наличии офицерского состава, они фактически вели корабль;

отсутствие офицеров еще выше подняло их значение, как военных специалистов.

Теперь они открывали свою кампанию против нас.
— Долой вольных!

Наступила критическая минута: если мы сейчас не заставим команду выслушать нас, наше дело проиграно. Теперь или никогда.

Афанасий нашелся. Он встал и громко и внятно произнес:

— Матросы! Вы не смеете не выслушать нас: мы говорим не от своего имени, а от имени всего русского рабочего люда. Вы, сыновья этого народа, должны выслушать его слово. Если не согласитесь с нами, мы уйдем; но выслушать нас вы должны. Именем народа требуем мы этого!

Эти слова произвели на матросов сильное впечатление; многие стали кричать о том, чтобы выслушать нас; кондуктора кричали против. Но все-таки первые одержали победу, и мне дано было слово.

Я не помню точно, сколько времени я говорил, кажется, часа два. Я начал с бунта на «Потемкине» и с солдатской жизни.

Я объяснил матросам, что дело не в борще, а в условиях; дело не в офицерах, а в строе, который гарантирует офицерам неприкосновенность за полный произвол. Им дадут сегодня лучшей борщ, лучших начальников, а завтра их снова будут кормить червями и пулями. Нужно иметь гарантию против произвола. При самодержавном режиме это невозможно.

Матросов каждую минуту могут погнуть на войну. Кому нужна неслепая война с японцами? Самодержавию! Значит, нужно бороться с ним. Как же это сделать? Могут ли матросы своими силами победить его? Нет! На кого же они должны рассчитывать? Единственно на народ. Присоединится ли еще эскадра — вопрос, а народ сейчас с нами.

Я рассказал, как страдают рабочие и крестьяне, рассказал, как эти страдания вынудили рабочих пойти к царю. Царский ответ — свинец и нагайки. Борьба всего народа против царя. Русский народ уже ведет страшный бой против царизма, и в этом гарантии помощи его матросам. Соединение с ним — победа, без него — поражение. Одесские рабочие уже сегодня показали, что до последней капли крови они будут защищать матросов.

Матросы «Потемкина» — первые военные, решившиеся перекинуть мост между казармой и народом. Пусть же побудит они смело по этому мосту и, слившись с народом, в могучей борьбе завоеуют ему свободу. С народом, на смертный бой, за свободу!

По мере того, как я говорил, настроение росло. Этому немало способствовало то, что я заставлял массу участвовать в моей речи и после каждого положения спрашивал ее, верно и говорю или нет.

Сначала она отвечала нерешительно, как бы боясь согласиться с этими чужими «вольными» людьми, как бы боясь, что они заведут ее в какую-нибудь ловушку. Но чем дальше, тем дружнее подхватывала она «верно» и даже вставляла собственные замечания, а конец моей речи подхватывала могучим, долго не смолкавшим «ура!». Особенно сильно подействовал на матросов рассказ о 9 января; Афанасий говорил, что многие матросы плакали, услышав от меня подробности страшного предательства царя.

Настроение переменялось в сторону, благоприятную нам. Теперь ни один замечник не смел крикнуть «долгой вольных», и матросы просили, чтобы еще кто-нибудь из нас говорил. Но страшная духота не позволяла нам оставаться дольше в батареющей палубе и решено было перенести собрание на шканцы.

Мы вышли на открытую палубу. Стояла свежая, темная ночь; лучи прожектора, радостно прыгая, рассекали тьму. Тут мы нашли Кирилла, вернувшегося с «Вехи». Я рассказал ему о просьбе матросов, и он, став на колени, начал говорить. Звучно раздавался в ночной темноте его голос, и казалось, что это луч света пронизывает такую же тьмоту, окружающую до сих пор этих забитых людей. Его речь была как бы продолжением моей. Он говорил об Учредительном Собрании, об экономических и политических требованиях рабочих и крестьян.

Сочувствие было уже на нашей стороне; но все-таки нам предстояло еще много работы: надо было глубже познакомить матросов с нашими учениями. Для этого нужны были новые силы. Нужно было целые дни вести пропаганду среди матросов и осветить им многие неурядицы нашей жизни. Мы вели агитацию ширь,— надо было углубить. Мы поднимали настроение, — надо было закрепить за собой сочувствие, вызванное нашими речами. Но этого сделать мы не могли: нас было всего трое, а на нас лежало руководство восстанием. У нас не было физической возможности делать больше того, что мы делали, а этого было мало. Мы ждали помощи, а она не появлялась. В этом была тяжелая вина влиятельных социал-демократических организаций.

Дулка, созывавшая комиссию в адмиральскую, прервала дальнейшие речи. Гуськом вошли члены комиссии в адмиральскую и расселись на стульях вдоль длинного стола, за ними стояли матросы, не принадлежавшие к комиссии.

Нам предстояло решить вопрос об участии арестованных офицеров. Прежде всего решили выслушать трех офицеров, желающих присоединиться к восстанию. Под козыпком вооруженных матросов в адмиральскую были введены: доктор Голенко, мичман Калюжный, инженер-механик Коваленко.

Первым стал говорить Коваленко.

Это был совсем еще молодой человек с большими, светлыми волосами, с добрыми, мягкими чертами лица. По своим убеждениям скорее либерал, чем революционер, он обладал мягкой па-

турой, не способной к борьбе. Но великий момент народной революции пробудил в нем силу, и он стал в ряды борцов ее.

Переход на нашу сторону искреннего офицера мог бы сильно помочь успеху дела, но для этого ему нужно было отличаться решительностью, непоколебимой стойкостью. Для этого ему нужно было уметь ни перед чем не останавливаться; его голос должен был звучать всегда властно и решительно.

В речи Коваленко всегда была какая-то неуверенность. Его мягкая натура не могла примириться со всеми жестокостями восстания. Он готов был отдать свою жизнь народу, но звать к этому других, не останавливаясь перед пролитием крови он не мог. И поэтому он не давал нам того, что мог бы дать как офицер.

Его речь дышала искренностью, но в ней, как и во всех его речах, не было силы воли.

Затем говорил Голенко.

Совершенно лысый, беленький, чистенький, он производил впечатление настоящего выхоленного дворничка.

В его речи, по общему содержанию тождественной с речью Коваленко, не было, однако, неуверенности последнего, но не было в ней и его искренности. От нее несло каким-то самодовольством и отчасти лезть матросам. Но во всяком случае в нем нельзя было угадать еще будущего провокатора.

Калюжный, молодойенький, маленький, тщедушный мичман, сказал только несколько слов о желании присоединиться к нам.

Я часто спрашивал себя: что побудило его сделать этот шаг? В продолжение всего восстания Калюжный неподвижно лежал в офицерской на диване, вставая только для того, чтобы проглотить свой голодный обед. Его глаза всегда равнодушно блуждали по каюте, и что-то тупое и пришибленное было во всей его маленькой фигурке. Ясно было, что не из любви к свободе он остался на корабле; ни разу, даже при самых удачных шагах восстания, ни одного проблеска радости не выдал я в его тупых глазах. Но и не желание прощипывать нас заставило его остаться на корабле: ведь лежал целые дни на диване, безучастно относясь к корабельной жизни, он ничего не мог предпринять против нас.

Только в старье от судебного следователя узнал я о тайных пружинах его поступка. Ему грезилось, что город находится в руках революционеров и там его ждет справедливая месть народа. Все безнаказанное, совершенное во тьме застенка преступления его среди сразу лагерьов и на грядущей месть и наполняли таким страхом его молодого, быть-может, еще не согрешившую душу, что он потерял способность ясно видеть и мыслить.

Когда офицеры высказались, их вывели, чтобы вести пленяя в отсутствие их.

Я почувствовал какое-то инстинктивное недоверие к ним (может-быть тут сказалось сложившееся годами предубеждение против офицеров) и энергично выступил против принятия их в наши ряды. Я задавая такой вопрос: «Где они были тогда, когда

командир собирался расстреливать матросов? Почему тогда у них не заговорил голос совести и не заставил их броситься к командиру с требованием прекратить издевательства?»

Но возражения моих товарищей и указание на то, что присождение офицеров может принести нам большую пользу, а учреждением строгого надзора можно обезвредить их «ядовитые жады», заставили комиссию принять их предложение, и они были освобождены из-под ареста. Остальных же офицеров на другой день мы свезли на берег.

Не успел еще смолкнуть голос Алексеева, отдававшего приказ об освобождении офицеров, как в адмиральскую вбежал матрос и сообщить, что весь порт в огне. Заседание было прервано, и все мы побежали на шхеры.

Страшное зрелище открылось перед нашими глазами. Громадное зарево освещало почти всю бухту; куда ни падал взгляд, всюду он встречал гигантские огненные языки. Они взвивались все выше и выше, распространялись все шире и шире и как бы говорили о всепожирательной мести старого режима.

Безумные волны неслись над этим морем огня; вдруг раздался характерное «стра-тата».

«Стреляют в народ!» — вырвалось из всех грудей. И, как безумные, обитые ужасом за своих погибавших безоружных братьев, мы стали бегать кругом, не зная, что делать, что предпринять. Все были охвачены одним порывом: прекратить нахально, хотя бы ценой собственной жизни.

Но как? Стрелять в город? Куда? Разве можно было стрелять в этот ад? А если мы как раз попадем в своих? И рвущаяся вперед мысль близась в этом безмолдном тупике.

Там были безумие и ужас, там гибли за нас; а мы, сильные, вооруженные, сложа руки, стояли в безопасности.

В этот страшный момент, когда самые трусливые делались львами, когда самые нерешительные готовы были идти на все, только бы спасти обреченных, Алексей обрисовался во всем своем ничтожестве.

Когда, затая дыхание, мы прислушивались к ногам и понам залтам и когда после какого-то крика отчаяния вырвался из наших грудей, он вдруг подошел к нам и сказал: «Да что вы глупости говорите; разве так стреляют? Это просто крыши от огня долотаются».

Заявление Алексеева, сказанное авторитетным тоном, несколько успокоило нас. Но скоро матросы опытным солдатским ухом различили выстрелы; и снова безумие овладело нашими душами. Как бы бось этого ужаса, все говорили шепотом. Боялись громко вдохнуть, сказать громко слово. Боялись

Так мы пережили эту кошмарную ночь; о сне никто из нас и не помнил.

V. БОМБАРДИРОВКА ОДЕССЫ.

Рано утром следующего дня я отправился во главе депутации из трех матросов к главнокомандующему войсками гор. Одессы с требованием разрешить похоронить убитого во время бунта матроса Вакуличука.

Кривая жутико всяло теперь от территории порта: это была пустыня дымящихся развалин и полуобгорелых трупов. Их было так много, что нам приходилось осторожно шагать, чтобы не наступить на человеческие тела. От встречных рабочих мы узнали подробности вчерашней бойни.

Весь день в порту происходили собрания. У трупа Вакуличука устроили трибуну: ораторы сменяли друг друга и в горячих речах звали народ на решительный бой с царизмом. Какой-то пьяный восторг господствовал тут: люди обнимались, снимали с себя все, что на них было, и отдавали в пользу общего дела. Кругом лежали громадные богатства, груды провинии, напитки, но ни одна рука не смела грабежом окиснить эти часы. Наоборот, всюду царствовал порядок и спокойствие. В одном месте какой-то хулиган стал кричать: «бей жидов», его тотчас же убили.

В 4 часа дня приехали на берег представители социал-демократических организаций, ездивших на броненосце. Один из них взлез на трибуну и, объяснив, что матросы не сойдут на берег, просил рабочих мирно разойтись по домам и ничего не предпринимать до наступательных действий «Потемкина».

Рабочие стали медленно с пением «шаршавянки» уходить из порта.

Но движение народа в порт не прекратилось. Навстречу уходившим рабочим шли тысячи обывательской публики. И они хотели побывать на первых народных собраниях, и их охватил общее воодушевление и выгнало страх из их трусливых сердец.

Но с уходом рабочих ушла из порта и та сила, которая поддерживала порядок и сознательность. Полиция не дремала и повела ловкую агитацию за разгром товаров. Скоро послышался стук разбиваемых бочек с вином.

Находившиеся еще в порту сознательные рабочие всеми силами боролись с погромом; они скатывали в море бочки, пускали в ход гае молоты, кулаки, убеждали, просили. Но ничто не могло удержать разбушевавшейся погромной стихии.

Где-то вспыхнул огонь, в другом месте разбирали драгоценные товары и закидывали их в карманы. Пламя все больше и больше разгоралось; горели миллионы, горели люди, перепившиеся дорогими напитками...

А частые залпы прибывших войск наполнили порт воплями расстреливаемых людей. Топа бросилась в город, но тут ее встретили новые залпы. Казаки рубили шашками, никому не давали спастись и гнали обратно. И под их натиском топа двину-

галасе все ближе и ближе к морю; многие падали туда и погибали в его волнах...

Мы отпразднись к главнокомандующему в сопровождении судебного священника.

— Матросы «Потемкина», сбросив власть начальства, отменили также молитвы и решили за ненадобностью высадить священника вместе со всеми офицерами; но так как не знали ничего о религиозных убеждениях убитого Вакулинчука, то решили, что на всякий случай его нужно отпевать. Поэтому, когда ранним утром отвозили на берег арестованных офицеров, священника задержали; теперь он шел с нами, и мы должны были отпустить его после похорон матроса.

Не успели мы подняться на Николаевский бульвар, как были окружены лесом штыков; офицер, командовавший тут, приказал встать нас во двор дома главнокомандующего, священнику же он вежливо предложил следовать за собой.

Все наши попытки заявить о цели нашего прихода оказались напрасны: нас не хотели слушать.

Двор, куда нас привели, представлял военный лагерь; грозно блистали штыки; резко звучали приказания; суетились ординарцы; и где-то в душе зашевелилась тревога, скоро прератнившись в уверенность, что нас ожидает расстрел.

Но власть еще не сбросила, очевидно, с себя вчерашней растерянности; после часа томительного ожидания, в подъезде показались наш священник; он шел в сопровождении какого-то полковника и, подойдя к нам, сообщил нам новости, от которых сразу стало как-то светло и спокойно на душе.

— Вот что, братцы,—заявил он нам,—я едنا к градоначальнику, и он разрешил предать земле тело раба божьего вашего товарища сегодня в 2 часа ночи, а вас приказал с миром отпустить на броненосец.

Я переглянулся с товарищами: «Как легко бывает иногда дышать в этом мире! И какой милый этот батюшка! Не правда ли?»

И никто не заметил одобрительной усмешки двух моих товарищей.

У нас все-таки хватило выдержки довести свою роль до конца: — Наш товарищ не вор; мы не намерены хоронить его ночью, укладой.

— Ну, как знаете!—ответил полковник.—А теперь можете идти.

Мы отпразднись на броненосце, где была созвана комиссия для обсуждения создавшегося положения; но прежде чем она успела принять решение, с берега вернулся Матюшенко. Он сообщил, что его разыскали на берегу два солдата, посланные командующим войсками, с письменным разрешением хоронить Вакулинчука в 2 часа дня. Нам разрешалось выслать почетный караул из двенадцати матросов для сопровождения тела на кладбище.

Солдаты, принесшие это разрешение, пришли говорить с матросами не только от имени своего начальства, но и от имени своих частей. А от последних они заявили следующее: солдаты

также сочувствуют матросам, но между ними нет единодушия, и они боятся начать. Пусть матросы сделают первый шаг, и одесский гарнизон перейдет на сторону восстания. В городском театре¹ заседает военный совет: пусть дадут матросы залы из орудий по театру, и они перебьют всех генералов. Тогда солдаты бросят винтовки и присоединятся к нам.

Матюшенко вполне сочувствовал этому плану и решил провести его. Эта неожиданная помощь человека, пользующегося большим влиянием на команду, значительно облегчала нашу задачу. Мы решили немедленно созвать комиссию.

Первые шаги в этом отношении увенчались полным успехом. Мы сумели так воодушевить членов комиссии, что они решили, сегодня же начать бомбардировку. Был выработан следующий план действий: мы даем три холостых выстрела, чтобы предупредить население, и два боевых по «театру». Затем депутация из трех человек отправляется в город и предъявляет главнокомандующему следующие требования: 1) немедленное освобождение всех политических; 2) немедленное прекращение расстрела мирного населения города и 3) как гарантия этого, выход всех войск из города и передача арсеналов в руки народа. Если власти не исполнит наших требований, мы завтра же начинаем бомбардировку города. Если же сегодня к нам присоединятся солдаты, мы немедленно завладеваем городом и делаем из него базу восстания.

Хотя комиссия и приняла весь план целиком, она все же не решилась предпринять такой важный шаг без согласия всей команды; решено было устроить общее собрание. Проиграли сбор, и на шканалы стали собираться матросы.

Мне пришлось от имени комиссии доложить матросам о принятом решении.

В своей речи я прежде всего напомнил матросам, что они перешли уже ту черту, до которой еще могли получить помилование: «корабли сожжены, Рубинки переилены» Перемирия с царизмом уже не может быть. Только победа одной из сторон и полное уничтожение другой может решить дело. Значит, война беспощадная. Нужно приобрести возможность сильных союзников, нужно нанести врагу страшный удар. Одесские войска готовы перейти на нашу сторону; им нужен первый шаг; этот шаг должны сделать матросы. Пока враг растерян, пока не собрал своих сил, надо нанести ему решительный удар; каждую минуту он усиливается, оправляется; он стягивает новые войска. Первый шаг проходит, а вместе с ним проходит возможность оглушить врага одним решительным ударом. Каждая минута промедления усиливает врага и ослабляет нас. Вывод: немедленно приступить к решительным действиям.

И тут я познакомила матросов с выработанным планом.

¹ Согласно заявлениям служащих одесского городского театра (в 1905 г.) «военный совет» действительно приходила там.

Во время этой речи я, после каждого положения, спрашивал матросов, согласны ли они с ним. Всегда раздавалось «верно». Когда я кончил, речь была покрыта грохком «ура». Казалось, дело уже было окончено; надо было только провести определенную резолюцию. Но вдруг раздалась где-то возглас:

«В город нам стрелять нельзя».

Кто-то подхватил его, потом еще несколько голосов, и скоро уже значительная часть команды стала кричать, что в город стрелять нельзя.

Скоро команда разделилась на две партии: одна требовала немедленной бомбардировки города, другая протестовала против этого.

В это время на кнехт вскочил Матюшенко. Его появление сразу прекратило споры и крики.

— Вот тут нас на судне 300 социал-демократов, — заявил он. — Мы решили отдать свою жизнь за народное дело и бороться до последней капли крови. Если вы не хотите стрелять, мы сами пойдем к пушкам и пошлем царю наши грозные снаряды. А вы, если хотите, присоединяйтесь к нам, или берите винтовки и перестреляйте нас всех. Или же свяжите нас и выдуйте начальству. Оно встретит нас с музыкакой, наградит нас орденами.

— Нет, не хотим, — заревела вдруг взволнованная этой картиной команда.

— Так как же, — значит, согласны стрелять в город?

— Согласны, — кричат матросы, и уже ни один протестующий голос не смеет врезаться в этот единодушный подъем массы.

— Может, кто не согласен, но голоса не слышно? — продолжает невозмутимый Матюшенко: — так мы так сделаем; кто за то, чтобы стрелять, переходит направо, а кто против — налево.

Всп команда двинулась направо.

— Вот видите, какие среди вас подлые души есть: за спиной, чтобы невидимо было, команду бунтуют, а открыто свое мнение боится сказать.

Командуктора были пристыжены.

— Ну, братцы, теперь стойте тихо. Или по своим местам.

Оживленная команда рассматривала по кораблю и начала готовиться к действиям. Машинисты побежали в машинное отделение и матросы стали скакать на палубу. Санитары приготавливали спирит и перевязочные препараты. Для лазарета доктор привнес

Еще до собрания им отправили в город 12 матросов для похорон.

Теперь раздался голос, чтобы не стрелять, пока не воротятся наши, так как их переубьют. Однако это совершенно основательное соображение было забыто в общей суматохе. Было уже пять часов вечера, когда раздалась боевая тревога.

¹ Командукторы на броненосце называются артиллеристы-пушкарни.

Раздался звук трубы; стоявшие около меня матросы побежали куда-то, и открытые части корабля сразу опустели; зато по трапам и спардеку ¹ люди бегали с ужасной быстротой. Через 3 минуты все уже было спокойно: к пушкам подкатили снаряды, и у каждой стали комендоры; входил в адмиральскую были закрыты железными люками, и я долго не мог сообразить, где же это я очутился. Здесь только что были лестницы в адмиральскую, а теперь их нет. Вдруг мои ноги обдало холодной водой: это спустился шланг с водой, чтобы не загорелся от снарядов деревянный пол палубы. Я поспешил убраться отсюда во внутреннюю часть корабля. И тут меня поразила удивительный порядок: каждый стоял на своем месте, и не видно было ни одного праздного матроса.

Указав сигнальщику театр, я отправился на мостик, с которого при помощи подзорной трубы, наблюдали за городом. Там нашел я Коваленко и матроса З., сообщивших мне, что стрелять будут из шестидюймовых орудий.

Но вот раздался сигнал, и грянул первый холостый выстрел. Затем второй, третий. Через четверть часа должен был раздаться первый боевой.

Заграла труба. Все притихло. Вот блеснул яркий свет и вслед за ним раздался оглушительный грохот, и долго еще раздавалось эхо его. Снова тишина, которую прерывает резкий крик: «перелет» — стоявшего около меня сигнальщика.

Но вот снова сигнал; за ним оглушительный грохот, и снова все тот же режущий ухо крик: «перелет».

Неудача нашей короткой бомбардировки сильно огорчила нас; нам, естественно, казалось, что снаряды попали в дома мирных жителей и причинили много несчастий тем, за кого мы боролись. Все мы бросились к сигнальщику Ведермееру с вопросом, почему снаряды не попали. Последний, не запинаясь, ответил, что для правильного прицела необходима карта с масштабом; у нас не было специалистов, которые могли бы изобразить его; а главное — никто не подозревал о возможности предательства и не думал возразить ему.

Только в Феодосии, один из офицеров, охранявших меня, поручик Померанцев, сказал мне, что неверный прицел был дан умывленно Ведермеером.

Сумерки уже опустелись над городом, когда я во главе матросской депутации снова поднимался по лестнице к Николаевскому бульвару.

Нас уже ждали: на верхней площадке сидел окруженный свитой помощник главнокомандующего войсками генерал Карангозов.

¹ Спардек — площадка, образуемая потопком батарейной палубы; на ней находится открытый капитанский мостик, боевая рубка, помещенные беспроводного телеграфа.

Я передал ему требования команды.

— А если мы не исполним их?

— Тогда мы оставляем за собой свободу действий.

— Хорошо, я передам главнокомандующему ваши требования.

— Еще одно предупреждение,—остановил я его, когда генерал уже подвигался, чтобы идти с докладом: — если к десяти часам вечера мы не вернемся на корабль, то по городу откроют огонь из всех орудий.

Генерал и офицеры вздрогнули.

Мы стали ждать.

Через пятнадцать минут он вернулся и, отчеканивая фразы по-солдатски, передал нам следующий ответ главнокомандующего:

«Ни в какие переговоры с царскими бунтовщиками командующий вступать не желает. А если хотите бросить еще несколько снарядов в дома мирных жителей, то бог и царь будет вам судьями. Теперь же можете идти, никто вас не тронет».

Матросы ждали нас с нетерпением, и массой хлынули за нами в офицерскую, где заседала комиссия.

Среди возвратившегося молчалива мы передали ответ командующего. Как и следовало ожидать, он вызвал бурю негодования.

— Мы покажем ему, какие мы бунтовщики! Не хочет разговаривать с нами, будет с 12-двойковками толковать!

Но председатель заставляет всех молчать и дает слово одному из матросов, сопровождавших тело Вакуличука на кладбище.

Он рассказал о восторженном приеме населения, о тридцатитысячной толпе, провожавшей тело убитого на кладбище, о грандиозной процессии и предательской попытке расстрелять почетный караул, когда он возвращался в порт, — попытке, последовавшей еще до нашей стрельбы.

Рассказ этот произвел сильное впечатление, страсти разгорелись, возбуждение росло, и ясно было, что комиссия готова с завтрашним рассветом начать действия против города.

Но среди этой решительности все-таки раздалось одно характерное для настроения «только бы»:

— Только бы эскадра пришла, — уж заговорил бы он у нас не так.

VI. ВОССТАНИЕ НА «ПРУТЕ».

За минувший день произошло еще одно событие на корабле, которому никто из нас в тот момент не придал большого значения.

Около 3-х часов дня кто-то крикнул «эскадра», и снова, как вчера, все, кто был свободен, бросился к бортам корабля. На горизонте виднелся дымок военного корабля. Пробыли боевую

тревогу, развели пары; то был большой военный транспорт «Прут».

У нас все было по-боевому, и «Потемкин» готов был уже снаться с якоря, чтобы ринуться ему навстречу, когда дымок стал внезапно удаляться: «Прут» поворачивал к Николаеву.

Я бросился к Алексееву с требованием захватить «Прута»; но Алексеев по своему обыкновенно нашел отговорку: «Прут»-де выстроиходное судно, догнать его невозможно и т. д. Пока была созвана комиссия, «Прут» действительно удался за пределы досягаемости.

Матросы утешали себя и меня доводами, что захват «Прута» не имел бы большого значения, так как «Прут», лишенный брони и плохо вооруженный, не представлял сколько-нибудь значительной силы при столкновении с эскадрой, и скоро мы все позабыли об этом происшествии.

Между тем за ним скрывалась раздражающая драма морского восстания.

Прибыв на Тендру, «Прут» узнал о восстании «Потемкина»: лишенный телеграфной связи, ничего не зная ни о движениях эскадры, ни о месте нахождения «Потемкина», «Прут» начинает свои скитания по Черному морю; его командир стремится во что бы то ни стало избежать встречи с «Потемкиным» и присоединиться к эскадре; его команда, наоборот, ищет встречи с «Потемкиным»; сначала она мечтает быть захваченной революционными кораблем, потом, не выдержав, выходит из роли пассивного наблюдателя, арестовывает офицеров и отправляется на шестые поиски «Потемкина», продолжавшиеся до тех пор, пока безоружный «Прут» не был окружен флотилией миноносцев.

Эта волнующая драма одинокого, затерянного в море корабля, оторванного от своих товарищей и все-таки выполняющего свой революционный долг, мастерски описана в двух приводимых ниже письмах вождя Прутского восстания, героя-матроса Александра Петрова, расстрелянного впоследствии в Севастополе по приговору военно-морского суда.

Письма Александра Петрова.

Письмо I.

Многоуважаемый Н. Н.

Наше дело до того запуталось, что трудно разобраться. У меня и Черного настроение бодрое. В возможность замены расстрелял каторгой не верю. Особенно после сообщений нам сегодня новостей. У Титова, наоборот, слухом велика уверенность в помилловании. Адамчик в первые дни валакд сейчас смеется. На суде выпало и осталось невыясненным одно обстоятельство: на вопрос судьи, г. Полякина: «Почему избрали вас командиром?», прапорщик Ядинирский ответил: «Не знаю.

ный момент. Отсутствие организации, отсутствие литературы и отсутствие людей с берега.

Ораторы на сходах говорили нам, что теперь ведется успешная агитация в крупных промышленных центрах, столицах и окраинах. Когда народ там с оружием в руках выступит против самодержавия, когда войска открыто станут переходить на сторону народа и правительство будет разрываться на части в усилиях подавить революцию, тогда и вы, матросы, смело требуйте созвать Учредительного Собрания и полного упразднения самодержавия. Ваше требование будет сильным ударом для правительства, потому что оно одной ногой стоит на Черном море; тогда почва под его ногами заколеблется, и оно, зашатавшись, рухнет.

Так говорили нам ораторы, но не так думали мы.

Мы видели, как трудно сделать восстание общими. Вспыхнув в одном месте, оно не скоро передается в другое, и, когда передается, то бывает подавлено в первом. Войска же только тогда станут переходить на сторону народа, когда у них явится уверенность во всеобщем восстании, а для этого надо, чтобы восстание охватило широкий район. А где такой широкий район, как не у нас в Черном море? Кто, как не мы, матросы, начал революцию в Севастополе, может сразу перебросить ее на Кавказ, оттуда в Одессу, оттуда в Николаев? Кто, как не мы, может заставить войска принять участие в революции? Что они примут участие, — в этом мы не сомневались, так как только боязнь сдерживала их до сих пор. Чувствуя же за собой поддержку всего флота, они отбросили бы боязнь в сторону. И мы готовились начать дело осенью. В передовых судах числились «Потемкин», «Екатерина», «Георгий Победоносец». Вопрос заключался в том, кому назначать «Потемкин» и «Екатерина» выразили готовность начать. «Екатерину» в этом укрепляла организация, «Потемкин» сам на деле доказал, что начать он не побоятся. От него и ждали почин. Вначале ждали осени, а потом все крепла и крепла мысль, что надо начать и теперь. Этот план, который и описал, не был составлен нами; он выработывался постепенно, переходя из уст в уста. Ждали полного плана, с расписанием, переходя из уст в уста. Как вдруг разнеслась весть, что на-днях идут на Тендру, где для пробы «Потемкин», а за ним вся эскадра предвигает экономические требования.

— Эх, зря! — говорили многие, — не вытерпят, а плана нет, все дело испорчат.

Так оно и вышло. «Потемкин» не вытерпел, наделал больше чем надо для экономических требований, и эскадре произвел раскол; кто присоединился к «Потемкину», зная, что он должен повести «Потемкина» больше чем протест против нищеты и щеня, не пристали к нему. У нас на «Бруте» на ночь настроение тирмистеря, выражалось желание, чтобы «Потемкин» нас нашел,

и некоторые тут же предлагали пойти к нему. Инструктора шутили: «Жаль, воскресенье пропадет, хорошо бы погулять Одессе». Ученики отвечали: «Что ж, это от нас зависит: стоит захотеть, — и погуляем». Рассказывают, что был подслушан разговор между старшим офицером и прапорщиком Нестерцовым:

Прапорщик Нестерцов — Что мы будем делать, если «Потемкин» нас захватит?

Старший офицер. — Сдадимся.

Прапорщик Нестерцов. — А командир?

Старший офицер. — Что командир? Его можно связать...

Веселитанки мореходных классов сновали между командой и сами себя с ней по-товарищески, чего раньше не было, так как большинство из них гордились. Как людей образованных, их внимательно слушали; большинство из них рассказывали такие неблизкие, что даже молодые матросы отходили в сторону. Положение обострилось. Надо было принять меры.

Собрали сходку, на которой и выяснил положение дел. Советовал отложить, так как «Потемкин» один, а наше судно не боевое, и мы будем мешать, закрывая поле обстрела. Кроме того, у нас недостаток солидарности, да мы и не можем быть уверены, что «Потемкин» в Одессе. Некоторые поддерживали меня, другие возражали. М. говорил, что раз условлено было, чтобы за «Потемкиным» начинать всем, то нечего ждать, когда примкнут к нему другие, так как, в свою очередь, те могут рассуждать так же. Мы ближе других к нему, потому и должны пристать первыми; а пример заразителен. Другим судам стыдно будет; одно мы за другим начнут приходить в Одессу. Черный говорил, что мы не вправе потерять людей в такую минуту, Титов грозил убить не в праве потерять людей в такую минуту, Ни к чему определенному мы не пришли, а пошли на компромисс — в обед выразить недовольство пицей. Но обед прошел тихо, несмотря на то, что мясо было испорчено, а настроение все поднималось. Ужин прошел тоже безрезультатно. В продолжение дня шло несколько раз ходил на берег, приносил все новые вести, странно противоречившие одна другой. И мы все ни верили, несмотря на явное их противоречие. Долгое невнушение ответа на телеграмму¹ заставляло команду верить, что в России «горячо». Мореходами был пушен слух, что за выков западники не 134 рубля, как было написано, а 50 рублей².

Ночью была нован сходка, на которой было постановлено, что, если «Потемкин» будет светить всю ночь прожекторами, зна-

¹ Потряс накануне тут на телеграмму командира «Брута», посланную в Севастополь с просьбой прислать инструкции, куда идти. На эту телеграмму долго не получали ответа.

² Для довольствия матросов кораблю отпускали, определяя месячную сумму, такую сумму, которая была бы из слитых зарпач, ремор должен был отчитываться перед ней, и команда была заинтересована правильными и экономными расходами довольствия сумм.

чит, он в Одессе. А так как завтра утром «Прут» снимается с якоря, то до утра ничего не предпринимать, так как на горизонте виднеются таинственные дымки, так как бунт и направившись к Одессе, рисковали наткнуться на миноноски. Когда мы утром снимемся с якоря и направимся в море и если не будет видно миноносок, то потребуем от командира, чтобы он повернул к Одессе.

Полегли спать поздно и утром проспали. Чем дальше уходили от Тендры, тем больше успокаивалась команда. Почти все были уверены, что до Севастополя ничего не выйдет. «Кожаные»¹ ободрились и начали бить. Вестя о тухом мисе и бунтарские действия Титова забудоражили учеников. Многие выпрыгали наружу. Надо было ожидать до 30 арестов. Бунт назрел, и его надо было ждать с минуты на минуту. Он готов был вылиться в самую безобразную форму, так как возник под руководством Титова. Чтобы смягчить его, я отправил к винтовкам и своим ученикам, которые отличались большой гуманностью, послал известить и машинистов, но было уже поздно. Раздался крик: «Бери винтовки». Остальное все известно. Жму вашу руку.

А. Петров.

Письмо П.

Милостивый государь!

Прошлый раз, под свежим впечатлением суда и слов Титова, а также его намерений, о которых я также узнал от него самого, я много наговорил такого, чего он не заслуживает. Вот почему я считаю обязанным себя написать об его роли в деле «Прута».

Вокруг себя Титов видел ненависть ко всему взявшему иную форму. Благодаря своей податливости всякому течению, он познанивал власть. Когда же он ознакомился с учением, званием, званием и властью всех угнетенных, то он не мог не отклониться на этот призыв. И он отдался этому делу всей душой; насколько умел и как понимал, содействовал ему. Только понимал-то он, к сожалению, неглубоко. Да и трудно было разобратся более основательно. Не было средств и не было помощи. Сходки давали немного, они развивали только дух солидарности. Прокламации тоже ничего не давали, кроме того, что, читая их, каждый чувствовал, что он не один в своем стремлении бороться, что позади его оплот, вокруг которого группируются такие же борцы, как и он.

Вы скажете: «А для чего литература?»

В том-то и дело, что она попадала в руки очень немногих и в очень ограниченном количестве. У меня, например, были следующие книги: 1) «За веру, царя и отечество», 2) «Красное

¹ «Кожаные», «шутры», «араканы» — презрительная кличка офицеров.

знамя», 3) «Первый вал» и несколько других изданий. Как видите, всего этого было мало для глубокого понимания социальных идей. Оставалась пропаганда других товарищей, но способных на нее было мало. Так, например, я, человек не очень развитый, и то выделялся на общем фоне. Так что часто приходилось брать на себя работу не по силам, за неимением для этого человека, более способного.

Многоуважаемый Н. Н., примите все это во внимание и согласитесь, что нельзя ставить в вину Титову, если он не принимал принятого им учения во всей полноте. Нельзя также обвинять Титова и других, что они служили причиной несвоевременного поднятия восстания, так как на вопросы, обращенные к ораторам на сходках: «Скоро ли будет революция?», те отвечали, что революция—такая вещь, время и срок которой предвидеть невозможно. Таким образом, они давали полную свободу каждому определять своевременность тех или других действий. Если вы припомните наше духовное состояние, то вы увидите, что мы должны были прийти к выводу «пора», и, если некоторые и удерживались, в том числе и я, то только потому, что не надеялся на силу «Прута», если бы ему пришлось оказаться одному, что представлялось возможным в виду противоречивости доходящих до нас слухов.

Тяжело было решиться на первый шаг. Люди стояли около винтовок и не брали их; некоторые, постояв возле них, приходили и вновь уходили. Наконец, человека три учеников, якобы рассматривая винтовки, вынули их,—как алекстрическим током бросило всех к ружьям; и всякого, взявшего винтовку, охватила страх: «А что если больше никто не решится попустить так же? И что, если явится офицеры и в страхе все разбежится, а мы остаемся с ружьями и нас заметят? Надо, чтобы с ружьями было возможно больше. И потому всякий взявший винтовку чувствовал, что ему возврата нет, что он должен вести начатое дело до конца, и неостово кричал: «К винтовкам! Бери ружья!»

Услышав крик, схватил и я винтовку, и меня охватила тот же страх, который я видел на лицах других, и я тоже зоррал: «Бери ружья, бери!». Команда сбегалась со всех сторон, и ружья быстро были разобраны. Люди настолько долго стояли возле ружей, что их заметили, и я, чтобы заставить их решиться на последний шаг, так как отступать было уже поздно, сказал:

— Если вы такие трусы, то я пойду скажу мореходам, и вам будет стыдно, что восстание подняли не матросы, а посторонние люди, — с этими словами я вышел из кубрика.

Вслед мне раздалось знаменательное: «К винтовкам», и я вернулся и взял ружье. Как только я узнал, что у ружей уже стоят и отступать уже поздно, я сейчас же послал туда же своих учеников и послал известить о происшедшем машинистов. Мое предположение, что ученики Титова (т.-е. ученики-машинисты), позависав на «Пруте» до прихода туда учеников с «Екатеринки», замешаны, и что, во избежание напрасных арестов, необходимо

продолжать начатое дело, подтвердилось. После командир в разговоре со мной на юте сказал: «Как только я узнал, что вы собираетесь на носовом кубрике, так сейчас же велел начать молитву, думая, что раз нас останется там мало, то вы побойтесь исподнить задуманное вами и разойдетесь».

Икона, которую брали для молитвы, стояла как раз в носовом кубрике, и та поспешность, с которой ее брали, и то, что лица, бравшие ее, пристально всматривались в собравшихся, как бы стараясь их запомнить, заставили меня сделать предположение, что о сборище и его целях уже известно, кому знать надлежит.

Встретив Ковалена, я ему кратко рассказал о положении дела и попросил запастись инструментом для взлома замка на пороховом погребе. Обеспечить себя патронами я считал нужным и необходимым, так как накануне все офицеры ходили с револьверами.

Матрос Петров.

Для полноты картины восстания на «Пруте», печатаю еще письмо одного из осужденных на каторгу «прутовцев».

«Товарищи, я хочу вас познакомить с нашим делом, начиная немного раньше того времени, чем случилось восстание, а именно с 7 июня.

«7 июня к нам пришли ученики машинной школы вместе с товарищем Петровым, как главным агитатором и представителем машинной школы. Между учениками дело было очень хорошо поставлено. И хотя с первых дней на «Пруте» начальство хотело сделать из них верхних солдат, но это ему не удалось, потому что мы тоже не дремали: по вечерам собирали в машине массовки и старались по возможности объяснить нашу задачу. 10 июня мы получили из экипажа письмо, в котором говорилось, что эскадра должна 15-го пойти на Тендру и товарищи сделают революцию. Нам поручалось занять Сухарную балку.

«14-го мы снялись с Николаеве, а заходя на Тендру. Знали, что брошеноец «Князь Потемкин-Таврический» на Тендре, а между прочим, здесь его не оказалось, тогда мы поняли, что что-то произошло. Командир знал, но ничего нам не говорил.

«В 8 часов утра мы снялись, а в 4 часа были в Николаеве, где была забастовка. На другой день мы узнали, что «Потемкин» выбросил за борт офицеров. Тут команда отказалась окончательно слушать дураков и стала говорить, чтобы тут же сделать забастовку. Но большинство не согласилось, во-первых, потому что у нас судно не боевое, а во-вторых, нас не пропустят мимо Очакова, и что все это еще может быть неправда. И вот утром приходит телеграмма к командиру, чтобы немедленно идти в Одессу — присоединиться к эскадре для усмирения «Потемкина».

«Мы ничего не сделали. У нас в машине были разобраны части. Живо покинули со всем. Команда ободрилась и ждала, как бы скорей присоединиться к «Потемкину» и к эскадре.

«В 4 часа вечера снялись и дали полный ход. В Одессу пришли ночью, так что ничего не было видно. На рейде кто-то освещался большим фонарем. Мы из этого заключили, что это — «Потемкин», но присоединиться не решились, потому что не знали, где эскадра.

«На Одессе мы пошли на Тендру, но эскадры там не было. На Тендре мы стояли 17-е и 18-е. Команда была сильно настроена и ждала только сигнала.

«Оба эти дня собирались открыться на палубе и обсуждали, что предпринять. Некоторые предлагали идти в Одессу, но мы решили подождать. 19-го получили телеграмму, что ити в Севастополь.

«В 4 часа утра снялись с якоря, а в 9 часов в кубрике, где стояли винтовки, собралась толпа. На палубе также разнесся слух, что сейчас будет бунт, и команда повалила в кубрик. Чтобы раздуть еще больше ненависть к командиру, еще 18-го, вечером, стали лепить из хлеба колдов и спивей, — словом, кто кого мог, и бросать в каюты офицеров. Почти всю ночь команда не ложилась спать. Тут только командир узнал, что революция неизбежна, но он не хотел поддаваться и все верил в свою ледяную хитрость. И вот для этого он велел собрать икону на юте, чтобы поупотить дурачков господом богом. Но не тут-то было!

«В это самое время раздается клич, чтобы мы брали винтовки. В кубрике крикнули «ура» и в один момент разобрали винтовки. Тут товарищ Петров обратился к команде с довольно пространной речью, в которой он, между прочим, сказал: «Товарищи, это не бунт а революция!». Команда выбежала затем наверх, и стреляла из винтовок. Когда раздался первый выстрел, то доложили командиру и старшему офицеру, которые не замедлили прийти, а старший офицер еще спустился в кубрик и стал уговаривать команду; но его выпроводили прикладами и штыками. Тогда командир прислал с юта попа с крестом, чтобы уговорить команду, но крест не подействовал, и попа чуть не в шее провалил. Сюда же явился боцман и крикнул: «Наверх, команда, во фронт» но его здесь же уложили на месте, тогда несколько человек кинулись на командный мостик и поперузили к Одессе. После того окружили командира и стали требовать сдачи. Командира заперли в каюту, обезоружили и арестовали всех офицеров, при чем штурманскую часть поручили Сандакову и назначили контроль из учеников «Одесского Торгового Мореплавания».

«А для того, чтобы избежать жертв и дальнейшего беспорядка, Петров предложил команде выбрать представителей, что и было исполнено. На представителей была возложена обязанность управлять судном и, между прочим, проверить судовую кассу, что также было исполнено. Денег у нас оказалось около 19 тысяч, потом выбрали командира — прапорщика Яцимирского, который должен был управлять судном так, как найдет нужным.

«В Одессу мы подошли около 6 часов вечера, но там „Потемкина“ не оказалось, а стоял „Георгий Победоносец“. У него мы спросили, где эскадра и „Потемкина“, и нам ответили, что не знают. Мы повернули после этого на Севастополь и стали совещаться, что нам делать. Ити ли на Севастополь или же в Румынию, искать „Потемкина“; но здесь же выяснилось, что у нас мало угля, и большинство решило ити в Севастополь и поднять там эскадру. Когда 20-го мы пришли в Севастополь, нас уже встретили миноносцы. Командир доложил сейчас же адмиралу, который не замедлил явиться. Мы выбрали из своей среды Петра, который сказал, что нам всем нужно и чего требует вся Россия. После этого вся команда подтвердила слова товарища.

«21-го приехал к нам командир Чухин, которому мы также приготовились сказать речь; но правда глаза колет, и он отказался слушать, а стал говорить свою, в которой нам напоминал что мы должны молиться богу за то, что мы еще не такие грешники, как „потемкинцы“».

«Нашлись у нас тады из унтер-офицеров, которые нас выдали. Дело было так. Когда мы пришли в Севастополь и стали просить поддержки, то нам обещали ее; но прошла ночь и общенный сигнала не было, а также не было его и на другой день. Тут некоторые упали духом, потому что к нам приехала рота солдат, а так как мы надеялись на поддержку эскадры, то отдали все винтовки. Всего выдали 44 человека. Команда сама никого не выдавала».

Так, находясь на расстоянии пушечного выстрела от «Прутчан», мы дали ему уйти и погибнуть в своем одиночестве.

Между тем, соединение наше с «Прутчан» имело бы чрезвычайно важное значение не только для команды «Прутчан». Правда, с точки зрения боевой, «Прутчан» не представлял большой силы, и правильно замечает Петров, что в случае морского сражения, он только мешал бы нашей обороне. Но ведь морского сражения у нас не было и не могло быть, так как самодержавие не нашло ни одного боевого судна, которое согласилось бы действовать против нас, а «Обновление «Прутчан», крупного военного транспорта, с экипажем в 450 человек, рядом с нами, имело бы огромное моральное значение как для матросов эскадры, так и для матросов «Потемкина». «Прутчан» мог бы доставить нам человеческий материал для десанта; как быстроходное и медлосидящее судно, руда порта Черного моря. И, наконец,—и это было самое важно организованная группа социал-демократов, которой нам так важны, Петров, знавший, куда нужно вести массы и умевший их вести.

Уже на второй день нашего пребывания на корабле, наша тройка (Кирилл, Афанасий и я) сумела завоевать огромный авторитет среди команд «Потемкина»; мы могли провести любое решение через комиссию и общее собрание; но обстановка боевого дела не позволяла нам взять власть в свои руки, — она должна была быть в руках моряка. Мы предложили Матушенко сместить Алексея и выбрать его командиром, но Матушенко решительно и резко отказал. Тогда мы провели через общее собрание постановление об образовании исполнительного комитета из трех человек. Мы искали для его пополнения матросов-вождей, но нашли только трех преданных, но совершенно лишенных инициативы матросов. Вождей не было. И потому в решающие минуты нашей кампании, когда успех действия исчислялся буквально минутами, когда нельзя было созвать не только команды, но даже комиссии, мы оказывались безответственными, и военное счастье проходило мимо нас.

Петров был таким вождем; он искал нас, и предательство Алексея помышало нам соединиться с ним.

VII. ВСТРЕЧА С ЭСКАДРОЙ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ «ГЕОРГИЯ».

Мы плыли навстречу эскадре...

Утром наша радио-станция перехватила телеграмму «Ростислава» к «Трем Святителям», а отправленный тотчас же на разведки быстроходный пароход Русского Общества Пароходства и Торговли сообщил о приближении эскадры в составе трех броненосцев и флотилии миноносков.

Наконец, после долгих и страстных споров в комиссии, было принято мое предложение, сводившееся к использованию боевого преимущества «Потемкина»: большей дальностью его орудий. На расстоянии нашего пушечного выстрела, мы послали приказ эскадре остановиться и затем отправляем к ней миноноску для ареста офицеров; в случае отказа эскадры повиноваться нашему приказу, мы открываем по ней огонь. Я рассчитывал, что в атмосфере борьбы скорей пробудится сопротивление матросов к своим начальникам и на эскадре вспыхнет восстание.

Мы шли по-боевому, под красным боевым стягом. Вот на горизонте показались дымки, и скоро сигнальщик в подзорную трубу разглядел: шли броненосцы «Георгий Победоносец», «Синоп», «Двенадцать Апостолов» и флотилия миноносцев.

Водра и радость было плыть навстречу бою. Против нас шли самые слабые броненосцы флота; и от сознания ли нашего превосходства над ними, или потому, что приближался долгожданный роковой час, когда должны были решиться судьбы восстания, или то было обаяние морского боя, или потому, что все мы были так молоды, скоры и ловки, и море было такое

Недолго пришлось нам ждать вторичного прихода эскадры: часов в 12 показались броненосцы. На этот раз их было пять.

Снова раздалась боевая тревога, и взвилось красное знамя. В тот же момент мы получаем по беспроволочному телеграфу телеграмму от адмирала Вишневецкого следующего содержания: «Черноморцы удручены вашим поступком. Сдайтесь».

Мы отвечаем: «Эскадра стой на якорь; адмирал к нам на борт для переговоров. Обещаю неприкосновенность».

Эскадра, не уменьшая хода, идет на нас.

Снова летит к нам телеграмма: «Безумные, что вы сделали? Сдайтесь! Повинную голову меч не сечет». В ответ прежняя телеграмма с грозной прибавкой: «иначе буду стрелять».

На «Ростиславе» и «Синопе» подняли сигналы: «Застопорите машину», но все-таки эскадра продолжала двигаться на нас. Первое бегство эскадры сильно подняло настроение потемкинских матросов, показало им их силу, и теперь они были охвачены совсем другими чувствами, чем при первом приближении броненосцев. Все чувствовали и свою силу, и важность момента, и каждый решал победить или умереть. Это не были нервно взвинченные или наэлектризованные речью люди, готовые в первую минуту ринуться в бой, но потом так же скоро обратиться в бегство. Нет! Это были спокойные, готовые на все солдаты. Движения каждого быстрые, энергичные, но удивительно ровные; лица бесстрастные, важные, а глаза смело и зорко следят за врагом. Это были 700 избранных, 700 обреченных на смерть.

А эскадра, громадная, с губительными миноносками, подвигается на нас огромной массой. Впереди идут самые сильные броненосцы — «Ростислав» и «Три Святителя».

Вдруг «Потемкин» свалился и, спокойный и смелый, как дух его команды, гордо врезался в пространство между ними...

На них все по-боевому; нигде не видно матросов, и лишь кучка офицеров стоит на мостике «Ростислава». Наши пушки медленно поворачиваются за уходящими кораблями. Вдруг громадное 6-дюймовое орудие «Потемкина» направляется на мостик «Ростислава», и группа офицеров посыпалась с него вниз.

Тихо, торжественно тихо у нас на корабле; прекратились шум и крики, и матросы, молча и сурово, исполняют раздающиеся приказанья.

Но вот приближаются другие броненосцы. Снова с обеих сторон грозные пушки. Мы точно в страшном кольце¹.

Но и наши пушки также зорко глядят за врагом и за каждым из них следуют стальные жерла.

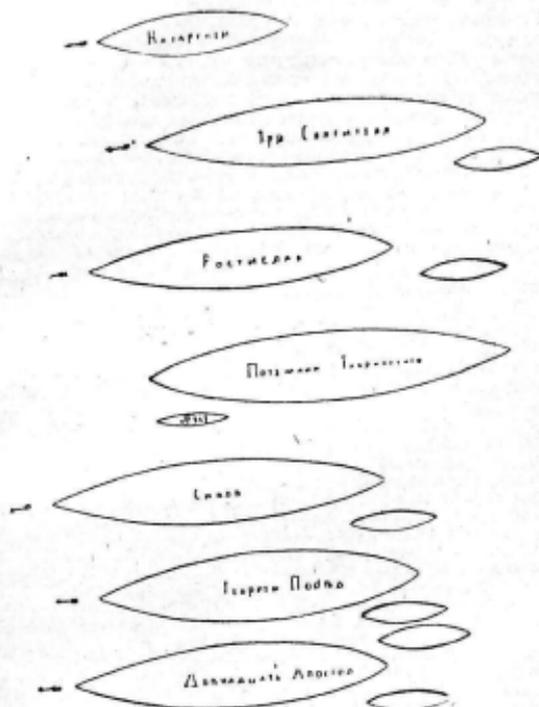
Минута... и море огласится ревом, воплями и покрестся кровью.

Но вместо пушечного рева с кораблей вдруг раздается могучее «ура». Это братья наши приветствуют зарю свободы. И все мы, те, кто не занят был сейчас делом, бросались к бортам и отпе-

¹ См. план: «Потемкин» и эскадра. Второй момент.

«Потемкин» и эскадра.

Второй момент.



Примечание. Порт (Одесса) находится с левой стороны чертежа.

тили таким же могучим, радостным «ура». Шапки летят в воду: изо всех сил мы приветствуем матросов и кричим им, чтобы они перебили своих «кож».

Но там нет инициаторов.

Мы, между тем, выходим из строя эскадры и идем в море. Эскадра стала. Стали и мы, но, не желая быть отрезанными от своей базы, задним ходом направляемся к Одессе¹.

Эскадра идет навстречу нам; снова мы в кольце, и снова могучее «ура».

Бог мой! Они уже с нами, но у них нехватает решимости действовать; нет никого, кто арестовал бы офицеров. Если послать наши катера с вооруженным караулом? Разве могут не принять наших те, кто, изменив всеми боевым традициям, сбежался во время боевого хода корабля на шканцы и ют, сбился в кучу, как стадо баранов, и кричит нам «ура». Но у нас-то ведь живет боевая традиция! У нас она сохраняет всю свою властную силу, и мне нужно снова обращаться к Алексееву, чтобы добиться спуска катеров. О, будь она проклята эта традиция! Алексеев, конечно, отказывает; у этого предателя на все есть отговорка, и пока мы спорили с ним, эскадра удаляется.

Но вот один из броненосцев—«Георгий Победоносцев»—останавливается: томительно, бесконечно медленно передается и принимается отсюда сигнал по семафору².

«Команда „Георгия Победоносца“ желает присоединиться к вам. Просим „Потемкина“ подойти к нам».

Бурные крики восторга приветствуют это заявление; снова повернулось лицом к нам военное счастье. Вместе с «Георгием» помчатся за эскадрой, и, может-быть, она еще не уйдет от нас, но Алексеев отказывается идти к «Георгию»: боится, что это — военная хитрость, и «Георгий» зовет нас, чтобы пустить мину.

«Георгий» сам пытается подойти к нам, но Алексеев дает задний ход и посылает приказ: «Стой, иначе буду стрелять». Так прошло полчаса, а адмирал тем временем полным ходом спасал эскадру от заражающего влияния революции.

Наконец, отравила на «Георгий» миноноску для ареста офицеров; на миноноске отправились Кирилл и Матюшенко. Она подошла к правому борту «Георгия», и видно было, как несколько наших взошли на броненосец. Через несколько минут уже миноноска дает нам сигнал подойти, но Алексеев и тут упорствует.

— Пока офицеры «Георгия» не будут у нас на корабле, я к ним не подойду, — решительно заявляет он.

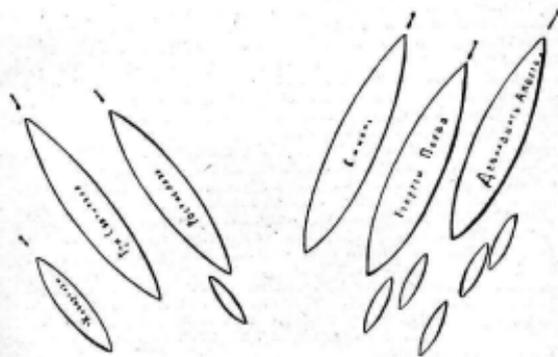
Я решил тогда поехать на «Георгий», арестовать офицеров и привезти их на «Потемкин». Мне дают восьмерку³, и я еду. На полути к нам подсаживает шлюпка с двумя матросами, один из которых передает записку следующего содержания: «Команда „Георгия“ не решается арестовать офицеров. Пришлите караул».

¹ См. влан: Третий момент.

² Сигнализация по семафору совершается следующим образом: на одном корабле матрос делает двумя флагами различные движения, соответствующие буквам. Сигналы на другом корабле, с помощью подзорной трубы принимают их.

³ Лодка на восемь гребцов.

«Потемкин» и эскадра.
Третий момент.



Одесса

Я немедленно поворачиваю к броненосцу за караулом. На «Потемкине» нам не пришлось долго ждать; немедленно вызвались шестнадцать человек; этого было достаточно, и я снова плыву к «Георгию». Быстро идет лодка под дружными усилиями

здоровых и ловких гребцов; плавно опускаются восемь весел и распекают бурлящие волны; еще один вамах, и мы у «Георгия».

— Караул, наверх! — команду я.

Матросы быстро взбегают по трапу:

— Здравствуйте, товарищи, — обратился я к ожидавшим нас георгиевским матросам, — где ваши офицеры?

— В адмиральской.

— Ведите нас к ним.

Георгиевский матрос пошел впереди, а мы с винтовками двинулись за ним. У адмиральской произошла трагикомическая сцена. Лишь только мы подошли сюда, я отдал приказ караулу строиться. Матросы построились по два человека в ряд против лестницы, ведущей в адмиральскую.

Медленно, держа винтовки наперевес, стали мы спускаться в адмиральскую. Но там было уже все сделано: Кирилл один, без всякого оружия, спустился еще до нашего прибытия в адмиральскую и разоружил всех офицеров. Караул нужен был только для того, чтобы взять их на «Потемкин».

Офицеры, наконец, собрались выйти на палубу. Матюшенко, принявший от меня начальствование караулом, скомандовал, и они были моментально окружены; затем их повели к трапу.

Когда их сажали на шлюпку, матросы «Георгия» просили не убивать никого из них. Мы обещали.

В этой просьбе, как и в нежелании дать караул для офицеров, ясно проглядывало желание георгиевцев не брать на себя большой ответственности. Бунт на «Георгии» произошел благодаря энергичным действиям нескольких матросов, понявших иррешительное и сочувственное восстание настроение всей команды. Они застопорили машину; произошло замешательство, Эскадры, шедшая на всех парах, тем временем далеко ушла от «Георгия», и последний был уже ближе к нам. С одной стороны от него удалилась сила эскадры, с другой стороны стоял «Потемкин», поднявший борьбу против ненавистного и георгиевцам режима и готовый оказать ему могущественную поддержку в случае присоединения и потопить его в случае бегства. И георгиевцы склонялись перед этой силой. Все это, конечно, ничуть не умаляет революционного значения георгиевского восстания, успех только в атмосфере общего сочувствия. Но, пристав к «Потемкину», георгиевская команда бессознательно хотела себе бунт на потемкинцах.

Вместе с офицерами уезжал с броненосца и Матюшенко. Я остался на броненосце.

Расхаживая по корабельной палубе и приглядываясь к матросам, я наткнулся на одного кондуктора, довольно плотного сложения, отталкивающее впечатление. Смесь жестокости, наглости и холопства была написана на его лице.

Он так поразил меня, что я немедленно подошел к нему и спросил его, что ему надо на свободном корабле. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что георгиевцы избрали его командиром. Я спросил тогда матросов, чем они руководствовались при этом избрании, и они мне объяснили, что только он один хорошо знает корабль и может командовать им.

А «Георгий» уже вслед за «Потемкинским» шел к Одессе и бросил якорь у входа в Одесскую бухту.

Я тем временем приступил к организации власти на «Георгии». Созвана была команда, начались выборы комиссии.

Стали выкрикивать имена, которые, большею частью, подхватывались командой. Выбрали нескольких кондукторов; они согласились участвовать в комиссии. Вдруг один из них отказался, тотчас же отказались и другие. Это показало, что матросы не понимают еще истинного значения комиссии и не производят строгой оценки избираемых членов. Мы объяснили тогда георгиевцам, что в комиссию должны пройти самые достойные, самые смелые, самые самоотверженные. Матросы, поняв, наконец, это, раскрасировали прежнюю комиссию и стали избирать новых членов.

Как раз в это время меня вызвали на заседание потемкинской комиссии, где обсуждалось важное предложение, внесенное георгиевским матросом Денгио¹.

Он предложил половину георгиевской команды пересадить на «Потемкин» и половину потемкинцев отправить на «Георгий».

Это предложение вызвало много возражений, сводившихся, главным образом, к тому, что, действуя таким образом, мы ослабим боевую способность обоих кораблей, так как матросы, не знающие хорошо корабля, не смогут быстро и легко исполнять свои обязанности во время боя. Решили поэтому пересадить на «Георгий» только 60—70 человек, без которых мы могли бы обойтись во время боя, и заведующими частями отдали приказ составить списки матросов, которых они могут уступить «Георгию». Комиссия занялась теперь разрешением мелких вопросов; и же вышел из офицерской и стал бродить по кораблю.

Стояла уже темная ночь. Но прожекторы, теперь уже с двух броненосцев, неутомимо работали, пронзаями ночную мглу.

Матросы все бодрствовали и делали боевое; они видели, как движется дни. Настроение у всех было боевое; они видели, как перед ними отступила грозная эскадра, как те, кто должен был громить их, защищая старый режим, выразили им свое полное сочувствие; и, наконец, они обладали новой боевой силой. Теперь они уже были готовы на самые решительные действия.

Я отправился в офицерскую, где ко мне подошли Кирилл и Дымченко и стали говорить, что хорошо бы отправить кому-нибудь на «Георгий», чтобы противодействовать там

¹ Денгио — один из главных деятелей восстания на «Георгии» — был приговорен к смертной казни и расстрелян в Севастополе.

агитации консервативной части корабля. Я согласился с этим и вместе с Дымченко отправился на «Георгий».

Тихо и спокойно было тут; команда всерьез почти спала, и только несколько матросов бродило по кораблю. Один из них, Денига, подошел ко мне и стал рассказывать о положении дел. Оно было довольно печальное: настроение команды — нерешительное и вялое, а кондуктора и командир ведут агитацию за сдачу.

Необходима была контр-агитация энергичная, продолжительная; весь завтрашний день должен был прийти в ней, а между тем, у нас не было сил для нее. От беспрерывных речей на открытом воздухе Кирилла, Матюшенко и я потеряли голос. Необходимо были свежие силы, а из города никто не приезжал.

Решил, что на другой день я вместе с вооруженными матросами отправлюсь в город за новыми товарищами, и положил перед собой на всякий случай заряженные револьверы, мы закупили крепким сном.

VIII. ИЗМЕНА «ГЕОРГИЯ».

Восходящее солнце следующего дня озарило наши могучие, как безбрежное море, надежды.

Эскадра ушла, не оправдав ожидания матросов. Но зато и мысль матросов оторвалась от эскадры. Предоставленные самим себе, матросы должны были искать нового союзника; в революцию, как и на войне, бездействие невозможно; его исключает логическое развитие событий.

Матросы «Потемкина» не могли стоять вечно в созерцании ушедшего города; выход из положения должен был быть найден. Если раньше таким выходом казалось присоединение эскадры, то теперь, когда эскадра ушла, — единственный путь к победе открывал город.

К тому же поведение эскадры ясно показало, что нам, во всяком случае, нечего было опасаться ее нападения; в худшем случае можно было ждать атаки миноносцев, экипированных одними офицерами; но наша бдительность могла предотвратить эту опасность. И силы наши значительно увеличались: в нашем распоряжении была уже маленькая эскадра: два броненосца, миноноска и транспортное судно «Веха», которое мы препарили в плавающий госпиталь.

Решение действовать против города уже окончательно содвинуло на «Потемкине». Утром Матюшенко ездил в город и перекапитана Голкова; по дороге ему удалось сговориться с депутатом нескольких полков о плане совместных действий; он думал, что броненосец начнет обстрел дворца командующего войсками, после чего солдаты приманут к восстанию.

Мы не были твердо уверены в том, что солдаты, сговорившись с Матюшенко, имели полномочия от своих частей; но, во всяком случае, обстрел дворца отечал требованию стратегического положения. Дворец находился на Николаевском бульваре; последняя доминировала над гаванью, и на нем была теперь установлена трехдюймовая артиллерия противников.

Этот план был принят комиссией; решено было, однако, предварительно приготовить корабль по-боевому, нагрузившись углем, для чего из порта приволокли к броненосцу угольщик.

Необходимо было также урегулировать положение на «Георгий»; посланные туда Кирилла, Коваленко и доктор Голенко привели плохие вести: среди команды вскрылся глубокий раскол, часть ее под влиянием агитации кондукторов уже открыто требовала идти в Севастополь и сдаваться властям.

Когда наша депутация вернулась с этим сообщением, комиссия решила немедленно отправить на «Георгий» вооруженный караул для ареста георгиевских кондукторов.

Но тут возник вопрос: кому ехать с караулом, чтобы обеспечить команде «Георгия» значение этой революционной миссии. Я уже говорил выше, что беспрерывная семидневная агитация в Одессе и на броненосце совершенно лишила голосовых средств Кирилла и меня; мы говорили почти шепотом, и нас едва было слышно даже на заседаниях комиссии. В таком же почти положении был и Матюшенко. Тут доктор Голенко, еще утром ринувший на «Георгий» против сдачи, предложил нам свои услуги. За эти дни доктор сумел завоевать наше доверие; и хотя он не был хорошим оратором и мало смыслил в политике, но авторитет офицерского мундира придавал большую силу его выступлениям перед матросами; его предложение было принято.

Это было роковой ошибкой.

Приехав на «Георгий», Голенко сбросил с себя личину; взамен слово, он занял команду «Георгий», что среди матросов желает «кина» такой же раскол, что значительная часть матросов перед итти в Севастополь сдаваться, но их удерживает страх перед революционерами, засевавшими на корабле; что если «Георгий» решится с якоря и отправится в Севастополь, «Потемкин» последует за ним, и все благополучно окончится.

Решившись на такое предательство, Голенко выполнял, очевидно, план, заранее выработанный какой-то тайной контр-революционной организацией, существовавшей на «Потемкине»; план этот скоро вылился в определенную форму.

Мы спокойно грузили уголь, когда «Георгий» снялся с якоря, дав нам сигнал, что он идет в Севастополь.

Этот предательство вызвало взрыв возмущения среди нашей команды. Быстро окончили уборку палубы, отгнали в сторону угольщик, пробив боевую тревогу и огромные жерла 12-дюймовых пушек установили на «Георгий». Еще минута и... на «Георгий» выдвинулся сигнал: «Иду на место», действительно до последнего ход. Вот он пришел уже к месту прежней стоянки; как

это? Он не останавливается, а поворачивает в бухту, и не успели мы сообразить, в чем дело, как «Георгий» сел на мель посреди гавани.

Наступила критическая минута; по молу уже бежали к «Георгию» солдаты; через несколько минут в руках у правительства будет морская артиллерия. И не столько это, сколько само предательство, очевидно, заранее обдуманное и связанное уже с берегом и живущее в то же время среди нас, делало положение чрезвычайно серьезным. Разумеется, быстрый и решительный контр-удар с нашей стороны мог бы парализовать это предательство и восстановить положение в нашу пользу. Огромное превосходство боевой силы «Потемкина» давало нам возможность не допустить соединения «Георгия» с войсками и снова овладеть изменившим броненосцем.

И опять успех исчислялся минутами, и опять власть бездействовала.

Вдруг где-то раздался крик: «В Румынию!», кто-то подхватил его, затем он раздался дальше, и через несколько минут уже вся почти команда «Потемкина» кричала: «В Румынию, в Румынию!». Откуда-то из трюмов повывезли какие-то матросы, очевидно, сплоченные в тайную организацию; бегая по всему кораблю, они сеяли панику среди команды.

— В Румынию! В Румынию!

Я бросился к матросам, стоявшим на спардеке.

— Братцы, товарищи! Что вы делаете? Вы губите все дело... Но мне не удалось окончить: несколько матросов подбежали ко мне и, грозя кулаками, стали кричать:

— Куда ты нас ведешь? Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы нас, как баранов, потопили? Вот поговорил-ка еще, сейчас за бортом очутишься.

— Молчите, изменники!—крикнул я им и хотел продолжать свою речь, когда ко мне подбежал матрос Кулик и, отведя меня в сторону, умоляющим голосом стал просить меня перестать говорить.

— Все равно, команду сейчас не переубедите; только себя опознаете, и тогда мы свое возьмем. А если пойдете круто, то погубите все!

Не зная, что делать, я стал глядеть кругом, ниша чьей-нибудь помощи и поддержки. Вдруг я увидел Матюшенко. Вместе с Кириллом, очутившимся каким-то образом около меня, мы подбежали, что и он промолвил все те же проклятые слова: «В Румынию!».

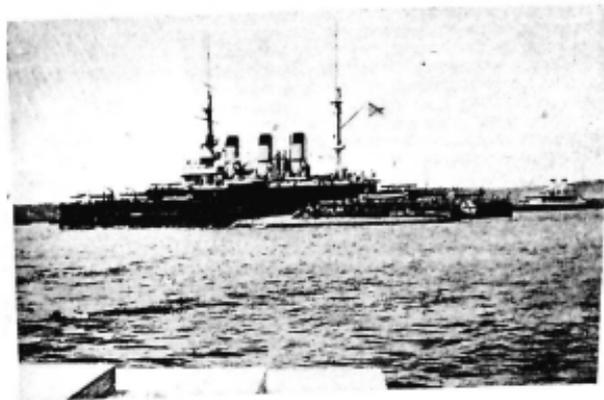
— Матюшенко, опознать, — крикнул ему Кирилл: — на нашей стороне 600 рабочих, убитых в порту!

— А вы что, трусите? За шкуру свою бьетесь? Так я вас могу сейчас на берег высадить.

Матюшенко, верный себе, потерял голову, как только массу охватила паника.

Паника все усиливалась и усиливалась... Видно, какой-то механизм, ловко воспользовавшись моментом, все сильнее и сильнее вертел колесом ее.

Наше дело проиграно... Уже отданы приказания развести паря, и «Потемкин» снимается с якоря.



Броненосец «Потемкин» перед отправлением в Румынию.

Одесса уже совсем исчезла с горизонта и кругом нас простиралось широкое море. «Потемкин» мчался навстречу другим, чуждым берегам. Что они принесут нам? Неужели вечный, несмысленный позор сдачи?

Кругом стояли группы матросов и оживленно о чем-то спорили. Я подошел к ним и услышал, что в каждой шлея спор о сдаче. Лучшая часть матросов уже опомнилась и вела страстную агитацию против сдачи; остальные матросы еще упорно, но видно было, что и они начинают переходить на сторону этого мнения, и что к приходу в Румынию настроение совсем изменится.

Мое предположение оправдалось прежде, чем я думал. Уже вечером этого же дня состоялось многолюдное заседание комиссии, в котором решался вопрос о сдаче. Раздались горячие речи и призывы к дальнейшей борьбе. Мысли всех уже стали

Х. В РУМЫНИИ.

В Констанце, румынском порту, лишь только мы бросили якорь и отдали положенный международный пушечный салют, к нам на борт поднялись два франтоватых румынских офицера: то были начальник порта и командир единственного румынского крейсера «Елизавета».

Они наговорили нам очень много приятных вещей; заявили, что весь цивилизованный мир с восхищением смотрит на наши подвиги, и уверяли, что, будь они русскими, они были бы в наших рядах.

Но когда мы просили продать нам за наличный расчет немного провизии, мы наткнулись на вежливый, почти воркующий отказ. Они-де самостоятельно не могут решить этого вопроса и должны довести об этом до сведения своего правительства; они, конечно, не сомневаются, что правительство всецело на нашей стороне, но, понимаете ли, нейтралитет и русский колосс — все это очень осложняет положение; но вот, если бы мы хотели слиться и высадиться на берег, то тут, безусловно, Румыния, как свободная страна, окажет нам гостеприимство.

Мы поспешили, конечно, отклонить это предложение и просили румын поскорей списать со своим правительством по вопросу нашего снабжения; одновременно мы вручили им два наших воззвания: одно — «Ко всему цивилизованному миру», в котором мы излагали цели нашей борьбы, другое — «Ко всем свободным правительствам», в котором мы гарантировали свободу плавания по Черному морю всем иностранным судам.

Весь день и добрая половина ночи прошли в оживленных переговорах между нами и румынскими властями. К утру для нас окончательно выяснилось, что в Румынии мы ничего не получим.

Еще до приезда в Румынию комиссия после долгого обсуждения приняла мое предложение: захватив в Румынии уголь, теперь перед нами стал вопрос о снабжении: угля и нас было всего на два перехода, а котлы уже стали лить морскую воду, и вся команда уже пять дней жила на сухом паёке. В Одессу валя одесский рейд. После долгих споров решили итти в Феодосию, где часто стояла угольная, направившиеся на Кавказ.

Нам предстояло пройти еще через самое большое испытание: познать команду с телеграммой румынского короля, который предлагал нам слиться и свои королевские гарантии, королева матросов неприкосновенность.

Был момент, когда мы хотели скрыть эту телеграмму; для этого у нас были к тому же формальные основания: нас известили, что на берегу нас ждет королевская телеграмма, когда был уже отдан приказ об отплытии. Однако мы передумали: Матюшенко съездил

на берег, привез телеграмму и огласил ее на общем собрании команды. Вслед за тем он взял слово и произнес замечательную речь.

— В каждой стране, — закончил свою речь Матюшенко, — есть свои законы и обычаи. Но одно есть чувство, которое свято чтится всеми народами: это чувство гражданской ответственности перед родиной. Теперь же, братья, подумайте, как будет относиться к вам румынский народ, когда узнает, что вы — изменники родины и, имея возможность спасти ее от тиранов, сдались подло, спасая свою шкуру!.. И какая тут будет жизнь у вас, когда каждый румын будет встречать вас с презрением, когда дети будут указывать на вас, как на изменников своей родине, и всеобщая ненависть будет окружать вас?

Эти простые, но доходящие до глубины сердца слова так подействовали на матросов, что дальнейшая агитация была лишней, и вопрос об уходе из Румынии был немедленно решен в утвердительном смысле. Румынам послали отрицательный ответ на предложение, а сами подняли якорь и скоро удалились от негостеприимных румынских берегов.

XL СКИТАНИЯ «ПОТЕМКИНА».

И снова, как призрак, скитается мы по широкому морю; только оно, гордое и могучее, дает привет «красному» кораблю. Только оно ласкает его своими мягкими волнами и поет ему песни о воле и свободе.

Уже спускался вечер, когда мы отошли от берега, и скоро черная ночь, полная опасностей, окутала нас своим мрачным покровом. Сегодня мы не решились бороться с этой тьмой и прорезали ее яркими лучами прожектора, боясь выдать себя исканьям нас миноноскам. Мы шли с потушенными огнями. Только на закрытых каютах да в машинном отделении яркие огни освещали бодрые лица матросов.

Теперь уже было сказано открыто то, чего никто не решился до сих пор сказать прямо: мы вступаем один, без помощи эскадры, в настоящую борьбу с царизмом. Теперь уже не было места колебаниям; перед нами стояла альтернатива: слиться под покровительство румынских властей или начать беспощадный бой с царизмом. Мы выбрали последнее. И это страшное сознание решительности и бесповоротности положения ярко сказывалось в решениях, которое мы, немедленно после отплытия из Румынии, провели в комиссии — поднять красное знамя. Хотя матросы, уже самим фактом восстания, заменили знамя царизма красным флагом революционности, но все-таки формально сделать это они не решились. Тут говорило много чувств: и старое суеверное уважение к Андреевскому флагу, и сопровождающее красное знамя представление о авиации, а может-быть, и боязнь матросов самим

себе ясно и открыто назвать свои действия, увидеть ту пропасть, которую они перешли.

Все наши попытки уничтожить Андреевский флаг и поднять красное знамя до сих пор были напрасны. Но теперь положение было настолько определенное, что наше предложение принято было с восторгом.

Притасили громадное красное полотно, призвали красноруких и скоро огромное знамя с белыми надписями, высушиваясь, висело в офицерской. Оно должно было взвиться над кораблем к приходу его в Феодосию.

К этому же моменту решено было вообще украсить корабли флагами, чтобы население поняло, что это не мрачные пираты пришли, а друзья и братья, что не грабить город пришли мы, а просить помощи для борьбы с общим врагом. С этой же целью решено было немедленно пригласить к себе представителей города, и, объяснив им цель и характер нашей борьбы, потребовать у них необходимое количество угля и провiantа.

Весь следующий день мы провели в море. Корабль, которому нарочно дали такой ход, чтобы прийти в Феодосию утром следующего дня, медленно двигался среди тех же широких, громадных вод.

Хотя море давало нам надежный приют, но все-таки начиналась чувствоваться оторванность и изолированность.

Снова мы одни на всем этом громадном пространстве, одни против врага, один в страшном предстоящем бою... Правда, впервые поддержка народа; но пока ни одного союзника нет у нас. И от этого одиночества становилось жутко; оно влезало в душу и наполняло ее тоской и сомнением.

Самые смелые легко боролась с ним, но слабые начинали поддаться; а змеиные жала кондукторов тайно вдвигали новый яд сомнения в окружающую атмосферу. В глубине трюмов, в темных углах эти гнусные кроны подтачивали корни нашего дела.

Матюшенко поймал одного из них и тут же хотел расстрелять его. Это был бы акт великой мудрости: страхом и ужасом ших наше дело.

Но мы обнаружили глупое, бессмысленное, преступное великодушье.—преступное, ибо тысячу раз был прав Икар, воскликнув, что «в деле политической свободы простить преступление—значит сделаться соучастником его».

Мы простили их, а они продолжали свое дело... На канье изолированности псаляли они свои узоры, и именно в Феодосийского рабочего населения и где нам не было многочисленной, ободрующей встрече.

Был еще один фактор, подтачивавший настроение команды: отсутствие провiantа и угля. Уже восьмой день, как никто из нас не ел мяса; хлеб, пшено и вода в ограниченном количестве

составляли единственную нашу пищу. Это тогда, когда мы расходоляли ежедневно громадную нервную энергию.

Особенно тяжело было положение машинистов: им приходилось работать в 40° жаре, день и ночь проводить в раскаленном аду. Тяжело было смотреть на этих измученных, истощенных людей. Поиню, как однажды, когда я вошел в машинное отделение, ко мне подошел матрос Кузник, служивший при машине, и заплетавшимся от усталости языком стал говорить мне, что работать в такой жаре летом, да еще на голодный желудок, нет возможности.

— Сия нехватает, руки опускаются. Кажется, вот-вот упадешь.

Надо было обладать той преданностью делу, какая была у машинной команды, чтобы с таким самоотвержением работать в этом аду. Я пробыл здесь только час и долго потом не мог прийти в себя от жары, шума и толкотни. Но, кроме голода матросов, был другой голод, более страшный своими последствиями—голод броненосца. Уже давно вышла вся пресная вода. Опреснитель мог обсулавивать только нужды людей; для котлов же надо было во время плавания слишком большое количество воды, чтобы опреснитель мог удовлетворить эту нужду. В котлы стали пускать соленую воду; но соль осаждалась и портила цилиндры. И хотя завывавший машинным отделением, матрос Денисенко, не пуская в ход всех котлов, чистил испортившиеся, все-таки они постепенно приходили в негодность. А главное—этим пользовались кондукторы, распространявшие среди матросов слухи, что котлы откажутся служить, если мы не достанем пресной воды.

Уголь также был на исходе, и его могло хватить, даже при самом экономном расходе, всего на 2—3 дня.

Однако не недостаток угля, не недостаток воды, как бы сильно ни понижали они боевую способность корабля, заставляли сдаться «Потемкин». Мы могли еще долго продержаться, а главное, могли достать все, что было нам нужно. Но кондукторы, лонко воспользовавшись этими дефектами и сделав их орудиями своей агитации, распространили среди команды слухи, что броненосец скоро совсем потеряет свою боевую способность, и правительство без труда возьмет нас.

Эти факторы имели скорее психологическое, чем действительное значение, появившееся на сдачу броненосца.

На рассвете следующего дня я проснулся и отправился бродить по кораблю. Команда уже вся была на ногах, и шла уборка: корабль приготовлен к Феодосии. Комендоры сняли чехлы с пушек и чистили черпачато-коричневые жерла их.

Сигнальщики протягивали веревки и разрешивали на них разноцветные флаги. Корабль был убран по-праздничному; все улабылось, блестяло, и среди этих праздничных цветов незовидно

преобразились и лица матросов; и они светились радостью и бодростью.

Но вот уж показались берега; теперь корабль шел полным ходом. Взялось красное знамя, и свободный революционный броненосец гордо стал на якорь неподалеку от входа в Феодосийскую бухту.

Феодосия — небольшой торговый порт — живописно расположена у подножия высоких гор между двумя крепостями — Севастополем и Керчью. Горные возвышенности, окружавшие ее со всех сторон, сильно облегчили бы ее оборону, а немногочисленный гарнизон (600 чел. пехоты, без артиллерии) позволял нам захватить ее без особых усилий.

Но, несмотря на это, и горячо восстал против предложения захвата города, — предложения, внесенного в этот день Кириллом. В Феодосии нет почти промышленного пролетариата, т. е. нет солдат для революционной армии. Из кого мы будем вербовать войско? Кто будет защищать город? В то же время Феодосия находится между двух крепостей, которые немедленно ударят всей силой своего вооружения на восставший город; а чем тогда его защитить? Где взять пушки, когда даже немедленно ограничить район восстания одним угольком, значило сразу обречь его преста властей, было бы предательством по отношению к населению. По этим соображениям решили мы не захватывать Феодосию, а только добыть в ней необходимые нам запасы.

Лишь только мы стали на якорь, наши представители — Кирия и еще два матроса — сошли на берег. Здесь они видели ту же картину, какую пришлось наблюдать и в Одессе: сочувственная встреча со стороны населения города и царское воинство, всегда ужасе при виде вооруженного противника.

Так и теперь, полиция не только не арестовала наших делегатов, но и не посмела разогнать толпу, перед которой Кирия произнесла революционные речи.

После произнесения речей наши делегаты потребовали, чтобы городские представители немедленно явились на корабль, чтобы идти на берег член управы обещал тотчас же передать это требование городскому управлению. Действительно, скоро из гавани уже двинулся катер по направлению к броненосцу; спустился трап, нашим кораблю.

Их было пять: городской голова, человек довольно плотного сложения, член управы, высокий, молодой, с умными и выразительными глазами господин (последствия я узнал, что фамилия его — Крым), его товарищ, блондин с удивительно сампатичными и мягкими чертами лица, какой-то инженер и городской врач, вытревоженный нами для бояных матросов.

После короткого приветствия, их привели в адмиральскую, где уже собралась вся команда. Кто-то из нас (хорошо не помню — Кирия или Коваленко) произнес речь, в которой указал, что мы боремся за свободу для всей России, что мы выставляем требование Учредительного Собрания. Обязанность каждого гражданина, каждого общественного учреждения помочь нам как привлечением на нашу сторону сочувствия всего народа путем оговещения о целях нашей борьбы, так и реальной помощью — доставкой необходимых нам припасов. Мы обращаемся поэтому к Феодосийскому городскому самоуправлению с требованием, чтобы оно немедленно устроило гласное заседание городской управы, рассказало широкой публике о наших политических требованиях и доставило бы нам необходимые припасы.

Таково было содержание речи товарища, говорившего от имени комиссии.

В ответной речи г. Крым подчеркнул свои сочувствия с нами в требования Учредительного Собрания, оговарившись, впрочем, что он против прямого избирательного права. Обещав исполнить наши требования, он спросил, какие припасы нам необходимы. Находившийся тут же Мураж представил список; он состоял из продуктов провизии, некоторых предметов, необходимых для машин, угля и воды.

Городские представители согласились на выдачу всего этого, кроме воды, говоря, что население само страдает от недостатка ее. Поговорив еще немного с нами, представители города уехали, обещав все доставить к 4-м часам.

В ожидании погрузки матросы стали писать письма домой; все знали, как беспокоятся о них дома после правительственного сообщения о Потенкинском восстании, и всем хотелось воспользоваться остановкой в русском порту для сообщения сведений о себе. Эти письма я лично съез на берег и передал группе рабочих для отправки их почтой. Это маленькое происшествие имело, однако, роковое последствие для дела нашего восстания: рабочие, которым мы вручили письма, были арестованы; корреспонденция перехвачена властями, и так как в некоторых из писем сообщалось о разложении среди команды, власти решили действовать энергичней и дать нам вооруженный отпор.

Представители города сдержали свое слово: в 4 часа прибыл баркас с провантом, и мы погрузили быком, муку, крупы, яич и других припасов на 10 дней кампания.

Но нам не была доставлена ница для броненосца: уголь и вода, так как этому решительно воспротивились военные власти. Представители города просили нас подождать до вечера ответа на какую-то телеграмму в Петербург. Кирия несколько раз ездил на берег, и день прошел в бесплодных переговорах. Положение затруднилось тем обстоятельством, что при первом беглом осмотре гавани, мы не обнаружили в ней угольщика; значит, уголь надо было брать из города, а для этого нужно было взять город, подвергнуть его бомбардировке, т. е. действовать факти-

чески против населения. И все же к вечеру выяснилось, что другого выхода у нас нет, и мы принуждены были послать в городскую управу следующую ультиматум:

«Если завтра, к 6 часам утра, не будет на корабль доставлен уголь, в 10 часов броненосец откроет огонь по городу. Просим предупредить мирных жителей».

XII. В ФЕОДОСИИ.

Удивительная картина открылась перед нами с рассветом следующего дня: бегство жителей из города. Женщины и дети, старики и молодые шли, таща на своих спинах котомки и узлы; среди этой копошащейся, как муравейник, толпы мчались экипажи богатей. Сердце невольно сжималось при этом зрелище от мысли, что, быть-может, мы сегодня разрушим жалкое имущество бедноты.

Но не было времени для сердечных излияний: время шло, и надо было узнать ответ на ультиматум.

Матюшенко и я сели на катер и направились к берегу. Там уже ждал нас представитель управы.

— Нет, не разрешает начальник, — быстро и отрывисто заговорил он, — погодите до 11 час.; мы вызвали по телеграмме губернатора и уверены, что он разрешит выдать вам уголь. Ради бога, ждите, — умоляюще закончил он.

Но пред нами стояла альтернатива: или не щадить дома феоодосийских обывателей, или медлительностью riskовать восстанием.

Я выбрал первое и в таком духе ответил гласному, обещая, впрочем, передать на рассмотрение комиссии.

Мы уже направились к кораблю, когда у меня мелькнула мысль исследовать гавань и проверить, нет ли в ней угольщика. Матюшенко согласился со мной и направил катер вдоль берега. Каково же было наше удивление и радость, когда мы наткнулись на три парусных шхуны, на которых в общей сумме было 30 000 п. прекрасного угля. Хозяин согласился отдать нам уголь, но с условием, чтобы мы сами пригнали шхуны к кораблю.

С радостным чувством поплыли мы к броненосцу; вопрос разрешался теперь очень просто, так как под прикрытием миноноска, легко было захватить эти шхуны и на буксире катера пригнать к кораблю.

Быстро собрали мы человек 15 из комиссии и так же быстро то-уны! — легкомысленно решили вопрос об экспедиции. Вместо того, чтобы созвать команду и потребовать от нее клаты в том, что она будет защищать нас, отправляющихся за углем, и затем просе были бы на местах и пушки дали бы грозный ответ, прежде чем мелькнула бы мысль о бегстве, мы ограничили только тем,

что посадили на катер 25 решительных матросов, вооруженных винтовками, и приказали миноноске двигаться за ними. Эта ошибка вытекала как из увлечения неожиданной находкой, так и из уверенности, что солдаты не будут стрелять в нас, — уверенности, погубившей всю экспедицию.

План был составлен таким образом, что катер возьмет одну шхуну на буксир, а миноноска, вооруженная малокалиберными пушками и командой в 50 человек, будет защищать нас от действия войск. Но и тут мы сделали важный промах, посадив на



В Феодосии. На «Потемкине».

катер Матюшенко, Кошубу и меня, т.е. самых решительных людей. Всем нам надо было быть на миноноске, чтобы заставить ее действовать в решительный момент.

Настроение у всех ехавших на катере было бодрое: никто не сомневался над тем, кто заряжал винтовки, — до того они были убеждены, что солдаты не будут стрелять. Этим чистым, только-что проснувшимся духом казалось немисланным, чтобы их братья-солдаты стреляли в них. Они твердо верили, что пришел час общего восстания, и солдаты только ждут сигнала, чтобы обратить свое оружие против народных врагов.

Жестоко они попятались за эту веру. Когда наш катер подошел к шхуне с углем, все мы, за исключением нескольких матросов, взошли на нее. Нужно было поднять якорь, и мы, приказав нескольким матросам смотреть за берегом, деятельно принялись за нашу работу.

Энергичнее всех работал Кошуба. Я тащил якорь рядом с ним и удалялся его железной элерени: он работал без усталости и, когда

Только поведение начальника гарнизона, полковника Герцыка, звучало резким диссонансом в этом хоре сочувствующих и подпевавших нам офицерских голосов. Пришедши на несколько минут в палатку, Герцык, увидя нас, пришел в такую ярость, что потерял даже способность говорить: он яростно потрясал кулаками, грозил нам виселицей и издавал какие-то нечленораздельные звуки. Наконец, он удовлетворил себя и ушел.

Нас вывели на солнечную аллею; хорошо и тепло было на солнце, и я на минуту забыл обо всем, подставляя свое продрогнутое тело под жаркие лучи солнца.

Вдруг какой-то штатский господин вошел в сад и стал приближаться к нам. Всмотревшись, я узнал в нем члена управы г. Крыма, который был у нас вчера на броненосце.

— Что, господа, будут стрелять с броненосца? — обратился он к нам. — Мне нужно это знать: надо предупредить жителей, — ведь в городе уже грабежи пошли.

Я ответил ему, что не знаю, посоветовал отправиться на броненосец спросить об этом матросов. Он согласился с нами и стал уходить. Сердце забилося в тревоге. Может быть, он расскажет матросам, что мы не убиты, и они откроют огонь и потребуют нашего освобождения. Хотелось прийти к ним хоть на минуту; я бы рассказал им, как умирали их братья, я бы сказал им это так, что души самых слабых, самых трусливых загорелись бы ненавистью и желанием мести.

Но недолго я возмывался; не успел г. Крым дойти до ворот, как подехавший верховой произнес роковое для нас слова: «Броненосец скрылся с горизонта».

ХИ. СДАЧА.

Через три дня от старших меня на гауптвахте солдат узнал я, что «Потемкина» сдача. А еще через три месяца, уже будучи за границей, я узнал от Кирилла подробности переполоха на корабле, вызванного стрельбой солдат и заставившего «Потемкина» и при измене «Горгина».

Командой, вследствие неожиданности, овладела паника; мины и машины — самые лучшие части команды — бросались в свои отделения; власть бездействовала.

Слова кто-то крикнул: «В Румынию!», слова появились какие-то незнакомые матросы и, бегая по палубе, увлечивали панику; снова Кирилла бросили к Матюшенко, и снова последовала паника; что он — «волыныя» и ничего не понимает. Разница была лишь в том, что теперь и наиболее сознательная часть команды колебалась, так как не хотела стрелять в дома мирных жителей.

Слишком поздней оказалась и встреча потемкинцев с г. Раковским. Он встретил матросов «Потемкина» в Константинополе, чтобы

передать им привет от европейского пролетариата и вдохнуть в их усталые души энергию к новой борьбе. Он привез им утешительную новость: перетрусивший турецкий султан заявил, что при первом появлении «Потемкина» откроет перед ним проливы, отдавая нас от сердца Ресни, петербургского пролетариата.

Слишком поздно.

Раковский нашел уже не борцов, а измученных, надломленных людей.

Громадная и славная крепость сдалась в полной боевой готовности...

Только на свободе, когда прошел первый ужас и кошмар этой сдачи, и мог хладнокровно и объективно обдумать все причины крушения наших планов. И, разбравшись во всем происшедшем, я увидел, что главная причина, из-за которой наше восстание фатально было обречено на неудачу, лежала вне нас: она скрывалась в недостаточном развитии береговой республики.

Могли ли мы, действительно, победить, когда вся окрестная Россия так бездельно относилась к нашему восстанию? Почему рабочие окрестных городов, из которых подвозились в Одессу войска, молчали? Почему они не разрушали железных дорог, не взрывали мостов, не изолировали одесских властей?



Х. Г. Раковский, встретивший «Потемкина» в Константинополе от имени социал-демократических организаций.

Почему окрестные крестьяне не посылали отряды своих сыночек на помощь одесским рабочим?

Потому что они не были достаточно подготовлены к революции. А если это так, то сами мы, предоставленные своим собственным силам, не могли победить царизма. «Но ведь вы даже не пробовали его победить. Разве вы пробовали взять город? Разве вы не решились сделать это п о т о м у, что боялись не одолеть находящихся там войск? И не безразлично ли было для нас в таком случае количество одесских войск?»

Да, это верно; мы даже не решались начать настоящей бой с царизмом.

Но разве самый факт этой нерешительности не подтверждает еще более моей мысли? Мы не дерзали потому, что берег молчал.

Потемкинская команда, только-что порвавшая со старым порядком, не могла решиться сама действовать против царизма. Она инстинктивно искала союзника. Взоры ее обратились к эскадре, потому что в ней она видела реальную силу.

Но значило ли это, что и народ должен был ждать всего от эскадры? Не должен ли был он, наоборот, развернуть громадную революционную энергию, показать потемкинцам, что в нем должны они искать могучего и верного союзника?

Если бы матросы услышали, что рабочие разрушают железные дороги, чтобы воспрепятствовать подвозу войск, что со всех местностей двигаются отряды рабочих и крестьян на помощь восставшим, что одесские рабочие куют на заводах оружие; если бы одесские рабочие, владея в первый день портом, не ушли бы оттуда, а, невзирая на нежелание матросов действовать, забаррикадировались бы там, — словом, если бы берег не на помощь восставшему народу. Они бросались бы уже потому, что не могли бы равнодушно присутствовать при кровавой борьбе своих братьев. Ведь хотели же матросы во время пожара в порту сойти на берег и прекратить расстрел.

Что сделал берег? Он идал слова «Потемкина». Вспомните, что сказали представители социал-демократических организаций стоявшим на берегу рабочим. Они предлагали рабочим спокойно разойтись по домам и не предпринимать ничего до действий «Потемкина». Рабочие разошлись.

В город беспрепятственно приходили все новые и новые войска; матросы видели все растущую силу одесских властей и чувствовали, что там, на берегу, у них нет активной и сильной поддержки.

Еще сильнее почувствовали они, что только в эскадре найдут они могучего союзника.

«Георгий» изменил, и рухнула последняя надежда на помощь эскадры. В умах матросов промелькнуло сознание своего одиночества; оно смутило их души и помогло кондукторам выполнить свой план — бегство в Румынию.

Самый удачный момент для развития восстания был потерян. В первые дни, когда, благодаря растерянности властей, колебаниям одесских полков было легко овладеть городом, мы бездействовали. И в нашем бездействии в значительной степени виновата наша изолированность. А дальше этот фактор чувствовался еще сильнее.

Были, конечно, и очень важные недостатки на корабле, значительно повлиявшие на нашу бездеятельность и сдачу.

Наиболее ошутительный дефект заключается в том, что в самые решительные минуты власть находилась в самых нерешительных руках.



В Констанце. Высказка потемкинцев из румынский берег.

Я думаю, что, если читатель вспомнит главы о приходе эскадры, измене «Георгий» и феодинской экспедиции, ему ясно станет, как сильно повлияло это обстоятельство на успех нашего восстания.

Серьезную ошибку сделали и мы—Кирилл, товарищ Афанасий и я—не устроив, в противовес тайной организации кондукторов, сплоченный кружок из наиболее решительных матросов. Читатель помнит, верно, что действия контр-революционеров на корабле были правильно организованы, что они имели успех благодаря тому, что революционеры не противопоставили им такой же организованности. Лучшие матросы в решительные минуты находились в машинных частях корабля, а та кучка решительных людей, которая была наверху, где решались судьбы восстания, была рассеяна и действовала вразброд.

Если бы 30—40 человек решительных матросов, повинуясь своему центру, схватили винтовки и, угрожая расстрелом всякому, вносящему панику в среду матросов, затем создали бы

Охранявший нас офицер попытался было не пропустить их, ссылаясь на военное положение, но жандармский полковник грубо прикрикнул на него и подошел ко мне.

— Матрос?

— Так точно, ваше высочордие.

— Какой статьи?

— Первой статьи, ваше высочордие.

— Покажи руки. Ну, плохой же ты матрос.—продолжал полковник, рассматривая протянутые мною ладони, на которых не было и следа тяжелой матросской работы.

— Как зовут?

— Федор Микишкин.

— Запишите его имя, — обратился полковник к сопровождавшему его офицеру, — и справьтесь немедленно по телеграфу в Севастополе, есть ли такой.

Жандармы перешли к Кошубе.

Почему-то Кошуба называли сначала не своим именем.

— Что, расквашивались ты в том, что столько бед натворил? — обратился полковник к третьему матросу, Ивану Задорожному.

— Чего жалеть-то? Хиза мы плохое что сотворили, — просто и спокойно ответил Задорожный, добродушный хохол.

— Ну, ладно! Когда вот перейдешь в мои руки, тогда пожа-

леешь! Но прекрасный желанием полковника не суждено было сбыться, так как почти в ту же минуту во двор вошла рота солдат, посланная начальником гарнизона Герцыком, с приказанием препроводить нас на военную гауптвахту.

Расставив роту в круг, офицер поместил нас в середине его и повел нас по совершенно пустым улицам; только около гауптвахты откуда-то повалился толпа рабочих и работниц и двинулись за нами. Лица их выражали сострадание и готовность помочь нам. Но... штыки сверкали...

На гауптвахте мы встретились с шестью другими матросами, увеличившими какою-то чудом во время стрельбы; с ними был еще седьмой матрос, находившийся ночью уткнувшись с броненосца на кричал: «Да ведь это наш студент!». Таким образом мое прохождение было сразу открыто.

Посадили нас в темные сырые одиночки, окна которых были плотно закрыты тяжелыми ставнями; свет и воздух проникали только через маленькие отверстия в дверях, выходящих в грязный коридор.

Через несколько дней после нашего заключения, к дверям нашей камеры подошел какой-то солдатик-еврей. Назвавшись бабусей перенести мысль о недавнем расстреле матросов солдатами:

— Я не могу молчать, я должен протестовать! — закончил свою возбужденную первую речь. И тут же предложил мне свою помощь для побега.

Обстоятельства были довольно благоприятные: окно моей камеры выходило на улицу, где не было солдатского поста; оно было настолько невысоко, что подошедший с улицы человек мог легко распилить решетку и освободить меня. Таким же образом можно было устроить побег и Кошубе. Мочедлобер взялся исполнить все в эту же ночь...

Через несколько часов он стрелял в Герцыку...

Солдаты рассказывали, что Герцык, делая смотр солдатам, стал хватить их за молодецкую стрельбу по матросам. И его нагаля, полная низина речь прорвала накиннувшие за эти дни в душе Мочедлобера чувство обиды и злобы к палачу; он выхватил винтовку из рук стоявшего вблизи солдата и дал два выстрела по Герцыку.

Но возмнение, вполне понятное при таком внезапном и сильном порыве, помешало ему попасть в цель, и на этот раз жертвой святой мести пал невинный солдат. Через месяц он был казнен... Так погибла эта чистая душа, не умевшая снести издевательств насильников.

Вместе с арестом Мочедлобера исчезла надежда на побег из феодинской гауптвахты, так как в тот же день меня перевели в камеру, выходящую окном во двор гауптвахты, где поместил целую роту солдат. Кругом всего здания расставили часовых. Караул гауптвахты, едва насчитывавший прежде тридцать человек, был увеличен теперь до двух рот.

Это усиление надзора было произведено, как сообщали мне один офицер, по телеграфному приказанию Чухнина и продолжалось за все время нашего пребывания на гауптвахте, что сильно ободило и без того негодовавших против начальства солдат. Эти внеочередные, лишённые всякого смысла дежурства в жаркую летнюю пору как бы говорили им, что они находятся не на родине, а в какой-то вражеской стране.

— Точно на войне с японцами, — говорили они друг другу.

Часто подходили они к нашим окнам и просили рассказать им, как мы начинаем переживать.

И по мере того, как им объяснял им, из-за чего и против чего мы боролись, лица их оживлялись, и все больше собиралось их около окон.

— Правду, ребята, матросики говорят, — радовалась восклицания, — и нам бы так давно... Да только... Эх! Не люди мы...

Иногда начиналось даже обсуждение плана восстания и главным препятствием служила неуверенность в других частях армии.

— Вам хорошо начинать: затворились на одном броненосце, — Вам хорошо начинать: затворились на одном броненосце, а вы нет, у вас уж и сила, крепость... Там хотя пристанут другие, аль нет, а все же обороняться можете. А у нас — рота подымается, выйдат со своими винтовками, а на нас десять рот. Да и патроны опять же: наберем полные пояса патронов, а как расстреляем их, так нас без боя, как кур, возьмут, — говорили солдаты.

— Ну, да, впрочем, не упускайте: явось вырвучим еще вас, — закончили они свои речи, стараясь ободрить нас.

Только солдаты седьмой и девятой рот, те самые, которые стреляли по нас, сердито и угромо молчали во время своего джурства. Да и эти вели себя так не из вражды к нам, а от стыда, пробудившегося в них под влиянием бойкота со стороны других солдат.

Совсем другое представляли из себя господа офицеры фео-досийской гарнизона. Они частенько заходили на гауптвахту и беседовали с матросами и солдатами. И таким диким человеко-ненавистничеством дышали их речи, что иногда страшно стано-вилось за человеческую душу.

Особенно отличался в этом отношении некий поручик Померанцев. Признаюсь, я долго не мог решить, офицер это или жан-дари,—до того гнусно и дико было его поведение.

Как-то ночью я проснулся от стука и увидел в камере двух офицеров; в одном из них я узнал поручика Померанцева, дру-гого же, блестящего жандармского офицера, я видел в пер-вый раз.

— Ваше имя и фамилия?—обратился ко мне последний, лишь только заметил мое пробуждение.

— Это вас не касается, — ответил я, совершенно проснувшись и появив ночной визит жандарма. — Но нельзя ли извинить меня от ночных посещений?

— Простите,—с чисто жандармской вежливостью сказал офи-цер. — Но я только-что приехал из Петербурга и мне надо немед-ленно ехать обратно. Так почему вы не хотите назвать своего имени? Ведь вас все равно откроют. Ну, а в последнем случае вы не станете ведь отрицать себя?

— Вероятно.

— Удивительная логика у всех революционеров. Вот Калнев, представьте себе, точно так же говорил со мной, а когда открыли его, признал свое имя... Не все ли равно вам, часом раньше или позже откроет мы вас?

— Об этом предоставьте мне судить самому.

— Может-быть, вы передумаете, я останусь до завтра.

— Как угодно.

— Господин капитан занят, — сказал вдруг Померанцев. — Вы скажите, можете ли вы завтра изменить свое решение, тогда он останется.

— Думаю, что это будет бесполезно.

Офицеры удалились; но все-таки жандармский и на другой день явился ко мне, тактливо стараясь узнать мое имя.

С тех пор Померанцев задается целью узнать мою фамилию, и степень моего участия в бунте. Ради этого он заходил к ма-тросам и обращался к ним с речью, в которой всячески убеждал их сказать мое имя.

— Если назовете его, братцы, то вам ничего не будет. А он-жид, что его жалеть-то. А не объявите имя его, вам же плохо будет.—всех переубеждал.

Но—уны!—все красноречие этого добровольного жандарма за-ранее было обречено на неудачу, по той простой причине, что никто из матросов не знал моего имени.

Погромная проповедь также была любимым занятием поручи-ка Померанцева и прочей офицерской братии. Помню, как, зашедши пещерою к нам на гауптвахту, он стал говорить с сол-датами об акте Мочедлобера:

— Что это, ребята, думаете, он нечаянно солдата убил? Какой там! Ему лишь бы нашего брата, православного, уничтожить. И всю смуту ради этого жиды-то делают. И вы их бейте, режьте,



Занятия «Потемкина» в Константинополе.

штывками колите! Все равно в ответе не будете. Так и знайте: как еще один из них нашего брата убьет, так сейчас выходи на улицу и всех жидов режь!

Приблизительно то же самое говорил на гауптвахте и сам Герцык.

Таково было фео-досийское офицерство.

На четвертый день нашего пребывания на гауптвахте мы узнали из газеты, что «Потемкин» сдался...

Кто из читателей поймнит, какими сильными и гордыми наде-ждами мы жили на «Потемкине», тот может понять, какие чувства вызвали в нас сдача «Потемкина».

В те минуты я не мог еще хорошо разобраться в причинах сдачи, и она казалась мне изменой родному делу, страшным по-срамом, и она казалось мне изменой презренней и ненавистней зло-ром. Мне казалось, что весь мир с презрением и ненавистью смотрит на нас, что слово «потемкинец» стало синонимом измены и трусости. Я чувствовала и слышала кругом гул общественного

негодования и понимал, что я сам, как участник восстания, раздвину позор этой сдачи. С ужасом думал я о суде, на котором я предстану перед всем миром, и он казался мне днем всенародного погубания.

С жадностью ждал я газеты, и когда получил ее, то боялся раскрыть: мне казалось, что сейчас со столбцов ее на нас посылаются негодующие речи.

До сдачи «Потемкина» я бодро переносил свой арест. Последние дни давали мне силу смело глядеть в будущее. Сдача затуманила блеск прошлого; оно на время ушло куда-то, и только одно слово «намена» осталось на месте его.

Так прожил я три недели.

II. ПЕРЕСЫЛКА И ПЛОВУЧАЯ ТЮРЬМА «ПРУТ».

Через десять дней после ареста нас перевели в пересыльную тюрьму.

Еще утром этого дня кто-то сообщил Кошубе, что ночью нас увезут в Севастополь, а на гауптвахте целый день совершались какие-то приготовления: к нам приходил какой-то писарь и снимал с нас подробный допрос о наших именах, чине и т. п.; во двор ввели еще несколько рот.

В десять часов вечера стали слышаться уже бряцающие офицерских шпор и слова команды.

В два часа ночи двери моей камеры растворились, и дежурный интер-офицер произнес обычное «собирайтесь».

Я быстро натянул сапоги, надел солдатскую шинель и, под конвоем нескольких солдат, ожидавших меня у дверей, вышел в караульное помещение.

Тусклая лампа слабо освещала движущуюся массу людей. В центре помещения стояли все арестованные в Феодосии матросы и винтовки. Интер-офицер торопливо бегал между солдатами и шепотом давал им какие-то объяснения.

Сквозь темный покров ночи я увидел, что на улице и во дворе также стоят солдаты. В темноте все принимало фантастические формы, и чудилось, что хищники совершали какое-то страшное дело.

Но вот вошел офицер, сделал переналочку, раздалась команда, и мы тронулись в путь. Кошуба и я шли рядом, мы чувствовали себя бодро.

— Все ближе к нашим матросикам будем; они в обиду не дадут! Да и скорей видно станет, что с нами будет, — сказал мне Кошуба.

Остальные матросы чувствовали себя, наоборот, очень плохо: им почему-то показалось, что их ведут на казнь. Кошубе и мне стоило больших усилий доказать им, что без суда нас не казнят.

1 Комната, где находится все свободные в данный момент солдаты.

Но было действительно что-то жуткое во всем этом шествии. Гудки раздавались шаги двухсот человек в ночной тишине. Впереди были штыки, позади—штыки, кругом—штыки... Мы выходили на все более и более глухие улицы и, наконец, вышли в поле. И по какому-то странному стечению обстоятельств, лишь только мы вышли в поле, где-то раздался залп. И невольно на ум приходила мысль о казни; думалось, что вот через месяц-другой так же повсюду на нее, а каждый шаг наш все ближе и ближе приводил нас к этой развязке.

Но вот перед нами вымырнула тюрьма. Медленно растворились тяжелые ворота, и черный, как бездна, двор поглотил нас. Снова перекачка и обыск, после которых всех нас поместили в пересыльном помещении. Здесь я впервые получила возможность поговорить с остальными матросами, узнать их настроение.

Тот упадок духа, который чувствовался в последние дни на броненосце, отразился и на этих товарищах. Славные дни потемкинское господство были забыты; место их заняла сдача, намена товарищей, а впереди — голая плаха. И хотя матросы не выдавали открыто своей боязни, но чувствовалась в них какая-то прищипленность. Она ярко отразилась в их отношении к побегу.

В этот же день представлялась возможность бежать из пересыльной тюрьмы. Можно было бежать всем нам, но матросы энергично протестовали и всячески убеждали меня и Кошубу, решившихся уже бежать, оставить эту затею.

— Все равно переловят, и хуже будет; а так, может, помилуют, — аргументировали они.

Только Задорожный спокойно и даже с оттенком хохляцкого юмора относился к своему положению. Совсем иначе чувствовал себя Кошуба. Я встречался с ним два раза в день, во время обеда и ужина, и поражался его умению заполнять свою жизнь. Он переживал время неохотно.

— Вот сегодня какое счастье мне привалило, — рассказывал однажды Кошуба, — знаешь, девушка одна подходила — товарищ, споев. Поглядела на меня этак грустно-грустно, а потом и пошла мне воздушный посылать...

И столько восторга и светлой радости было в его глазах, когда он произносил слова: «девушка-товарищ», что она невольно сообщалась и мне, и я чувствовала, что и со мной случилось сегодня что-то хорошее, светлое...

Или он начнет петь мне сложные или стихи о славных потемкинских днях и о бедной доле матроса. Это было самым любимым его занятием.

Вообще же его любовь к «матросикам» заполняла все его существование и выражалась в крайней идеализации их: до восторжения он любил их, как веселый удалой народ, теперь он восторгался ими, как первыми защитниками народа. Тем ужаснее было для него издевательство Чухнина, заставившего этих же самых «матросиков» расстрелять Кошубу.

Еще утром этого дня меня предупредил об этом командир «Прута», и в четыре часа дежурный унтер-офицер приказал мне собраться.

Наступила тяжелая минута последнего прощания с товарищами и Кошубой. Последний, увидев, что меня уводят, стал бешено стучать в двери своей камеры; я бросился к нему, но коновитые удержали меня. Однако сильным движением я вырвался из их рук и подбежал к Кошубе...

III. В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ.

Катер быстро и шумно мчал меня к берегу.

Но теперь я не радовался тому, чего раньше так страстно и сильно желал: мысль о том, что Кошуба остался один, бесконечно мучила меня. Его образ в минуту прощания стоял передо мной, а в глазах его и читал немой укор за то, что я покинул его. В ушах непрерывно звучали его последние пламенные слова о мести.

Катер пристал к берегу; грубый толчок одного из конвоирующих солдат вывел меня из задумчивости.

Через полчаса мы уже находились в тюремной конторе. Дежурный помощник вызвал надзирателей, приказал обыскать меня и отвести в больницу, где меня посадили в большую и светлую палату.

Больничное здание севаستопольской тюрьмы было расположено в особом небольшом дворике, который одной стеной своей упирался в здание женского корпуса, а другою отделялся от улицы. Полное отсутствие часовых, за исключением одного надзирателя, дежурившего в больнице, само по себе сулило возможность побега. Не завязав еще сношений с товарищами, я решил познакомиться поближе со стерегшими меня надзирателями¹ и действовать на свой собственный риск. Один из них оказался поляком. Из разговоров и узнал, что он настроен оппозиционно; что находится на тюремной службе только потому, что, не зная никакого ремесла, не может взяться за физический труд; что тюремная служба ему надоела, и он бросил бы ее с удовольствием. Из Польши он уехал только потому, что стыдно было перед товарищами служить в тюрьме. Много рассказывал он о родине, о кровавых расстрелах, свидетелем которых он был, и рассказывал это так искренно, что не могло быть и сомнения в честности этого человека. Все это так расположило меня к нему, что после трехдневного знакомства с ним я предложил ему уехать прочь вместе со мною. Поляк выслушал очень внимательно мое предложение и нашел побег вполне возможным, но окончательно ответ обещал дать вечером.

¹ В тюрьме каждую ночь обслуживают два надзирателя, сменяя друг друга через каждые шесть часов.

Через два часа его сменили; следующее его дежурство должно было начаться только в двенадцать часов ночи.

Томительно долго тянулось время и, наконец, пробило полночь; в коридоре раздался стук; произошла смена. Но, к моему удивлению, поляк не подошел ко мне; я провела еще несколько часов в напряженном ожидании и, решив, что он еще раздумывает, лег спать.

Однако на другой день, утром, у меня возникли подозрения в честности поляка: Случай помог мне. Товарищи передали мне газету, и, зная, что сейчас дежурит поляк, я без всякой осторожности принялся за чтение ее; вдруг кто-то подошел со двора к моему окну и, крикнув: «спрячьте газету, ваш надзиратель заметил и донес начальству», скрылся, прежде чем я успел заметить его.

Не особенно доверяя этому извещению, я все-таки спрятал газету; но через несколько минут ко мне в камеру, действительно, вошел старший надзиратель и потребовал газету.

— Ищите, если вам угодно, — ответил я.

Обыск не дал никаких результатов, так как газета была спрятана в очень укромном месте.

— Чего же ты знал меня? — огрызнулся «старший» на поляка.

— Да я сам видел газету в их руках, — виновато ответил последний.

— Плохо глядишь ты! — проворчал старший и вышел из камеры.

— Почему вы донесли? — обратился я к поляку.

— А не читайте так, чтоб вся прогулка видела; я не могу из-за вас места лишиться.

Но этот ответ не удовлетворил меня, и я стал подозревать в поляке предателя.

Мое предположение не было напрасным: в тот же день меня перевели из больницы в тюремный корпус, а через неделю я узнал через товарищей о том, что поляк передал весь наш разговор начальству.

Перевод в тюремный корпус, однако, не очень огорчил меня: хотя исчезла надежда на скорый побег и надзор за мной был усилен, я радовался тому, что очутился среди товарищей, очень тепло принявших меня. Близкое соприкосновение с ними и разговоры о «Потемкинне» заставляли меня снова переудухнуть всю вору о «Потемкинне» заставили меня снова переудухнуть всю историю его, и так как в это время прошел первый острый период горя, которое вызвала во мне потемкинская слача, я мог спокойно и объективно отнестись к ней.

Потемкинское восстание перестало казаться мне авантюрой, как выразился я о нем в своем письме к друзьям из тюремной больницы; наоборот, теперь я видел в нем один из великих этапов революции. Сознание, что я участвовала в нем, валоало меня новую струю бодрости. Суд уж не страшил меня, и снова я думал о нем с гордо поднятой головой.

Через неделю я получил первую записку от друзей, приехавших устраивать побег. Содержание было следующее:

«Ключ 1:

Город, где жил Н...

Город, где М... была арестована.

Город, где Р... жил в ссылке.

Город, где Я... жил в 1904 году.

Город, где вы жили в 1905 году.

При помощи этого ключа узнать о более богатом».

Дальше следовали зашифрованные строчки, в которых товарищи спрашивали, есть ли надежда на побег и что для этого нужно.

Записка была составлена очень умело: она позволяла нам условиться о ключе так, чтобы почтальон² не знал его, и сразу обнаруживала свое непровавторское происхождение, так как только близкие друзья могли знать такие подробности о жизни моих товарищей.

Неделя, я составил ответную записку, в которой условливался о шифре, просил сообщить о том, кто из друзей приехал, и указывал возможность побег.

Переписка была организована. Началось обсуждение побег. Для организации которого было прислано несколько энергичных и опытных товарищей следующими организациями: Одесским комитетом с.-д. партии; Одесским комитетом «Бунда», Киевским комитетом партии «меньшевиста»; Сенаполпольский комитет партии был тоже привлечен к участию.

В тюрьме также образовался своего рода объединенный комитет из одного социал-демократа, которого я назвал Н. ¹, социалиста-революционера и меня; позднее в него вошел еще один социал-революционер Мышкин. Каждый шаг, каждый план наш «почтальон» приносил записку с воли одному из членов комитета, большую часть Н., который расшифровывал ее, делая свои заключения и отсылал мне. Я обдумывал ее и, если дело было серьезное, передавал другим товарищам; сделав затем сводку всем мнениям, я писал ответ на волю тем же порядком, т.-е. отсылал его Н., который зашифровывал все и передавал «почтальону».

Прежде всего решали послать на волю план тюрьмы; два дня мы трудились над ним и, наконец, после единогласного утверждения отправлял его «вольным».

¹ Ключом называются те слова, при помощи которых шифруют записки. Общепонятно для этого служат страницы какой-нибудь книги.

² Почтальоном служил один из тюремных надзирателей по фамилии Голубь.

³ Товарищ этот — бывший ученик одесского художественного училища, с которым я был связан по работе в Одессе. В тот момент он случайно оказался в сенаполпольской тюрьме. Фамилие его, я, и соседства

Через неделю из массы предположений и планов выдвинулись два проекта. Первый, исходивший от нас, отличался большим риском; было много шансов быть пойманным погоней, которая должна была последовать через три-четыре минуты после побег. Второй план, исходивший от «вольных», отличался меньшим риском и был почти на верный успех, но на устройство его понадобилось бы не менее двух недель. Вот из-за последнего-то обстоятельства второй проект казался непримлемым тюремному «комитету». Дело в том, что я находился под военным судом и содержался в городе, который был в военном положении. Благодаря доносу большого надзирателя, власти были предприняты о подготовке к побегу; их подозрение усиливалося ежедневно, и надзор за мной с каждым днем делался все строже.

Все это давало повод предполагать, что меня могут снова перевести на одну из плавучих тюрем. В таком случае промедление было величайшим риском: оно могло привести к абсолютной невозможности побег. Между тем, при участии смелых и решительных людей, первый проект имел много шансов на успех. Исходя из этих соображений, мы настаивали на прилюдном в исполнение нашего плана; но все-таки нам пришлось уступить и многие товарищи.

«Вольные» прилежно заняты подготовкой своего плана, а мне надо было терпеливо ждать...

В продолжение нескольких дней все шло своим чередом: «вольные» ежедневно осведомляли нас о ходе подготовительных работ; я вел себя чрезвычайно скромно, не вступая в пререкания с начальством, и казалось даже, что мне удалось рассеять его подозрения.

Только один раз разгневал я начальника тюрьмы: моя камера находилась на четвертом этаже, и прекрасно видел все, что происходит на улице, и поэтому уселенно просил одного из «вольных» пройти мимо здания тюрьмы. Товарищ согласился исполнить мою просьбу и однажды прошел несколько раз мимо тюрьмы. Это свидание привело меня в такой восторг, что и изощренность. Это свидание привело меня в такой восторг, что и изощренность. Это свидание привело меня в такой восторг, что и изощренность.

Как раз по двору проходила начальник тюрьмы: «Тише, перестаньте петь!» — кричали мне товарищи. Но, опьяненный восторгом, я не слышал их и продолжал свое занятие. Очутив я уже в новой камере на первом этаже, куда разгневанный начальник приказал перевести «свольных».

— Здравствуйте, товарищ, — раздался откуда-то с потолка чей-то мягкий и задуманный голос, лишь только надзиратель за-хлопнул дверь моего нового обиталища.

Я оглянулся и сразу понял, в чем дело: товарищ-сосед, очевидно, проделал отверстие в стене и говорил через него; исконно знав, я, не видя товарища, стал разговаривать с ним. Он назвал себя социалистом-революционером Мышкиным; встреча

с ним оставила во мне такие светлые воспоминания, что я не могу не поделиться ими с читателем...

Притягиваясь к революционной среде, я с грустью думал о том, что носители идеи нельзя смешивать с самими идеями. Тип идеального революционера, живущего всецело идеей, вносящего элемент идеализма в каждое движение свое, все реже и реже встречается в революционном подполье. А за последнее время, когда революция охватила самые широкие массы населения, в среде революционной интеллигенции такие идеалистические личности становятся единицами.

Но Мышкин оживил передо мной образ революционера семидесятых годов. В то время, когда я с ним встретился, он сидел в одиночном заключении четвертый год, и все это время он находился под следствием. Товарищей, арестованных по одному с ним делу, давно уже сослали в Сибирь, и некоторые даже отбыли наказания. Но Мышкина, вследствие пустого знакомства с Фомой Качурой, жандармы заподозрели в участии в боевой организации и три года шаут улик против него. Товарищи забыли про него; человек, состоявший с ним в близкой связи, ушел от него, и уже полтора года Мышкин сидел без свиданий. Но он не обманул друзей и не разочаровался в товариществе; напротив, выше всего он ставил последнее. Поведение же товарищей он объяснял тем, что они заняты «делом», и им было не до него.

— Революционерки нельзя жить личностями; их притягивает дело, и ему они должны отдавать все свои силы и время, — сказал он мне, — я даже думаю, что мы совсем должны отречься от личной жизни: ведь столько сил отнимает она...

Печаль мученичества лежала на всех его мыслях и порывах. Мысль о том, что рядом с ним сидит товарищ, которому грозит казнь, бесконечно угнетала и мучила Мышкина. С чрезвычайной мягкостью и чуткостью, присущей его натуре, он относился ко мне и старался ободрить меня. Каждую минуту чувствовал я, что рядом со мной сидит человек близкий и любящий, который без колебания принял бы на себя мою участь. Но, бесконечно страдая за товарищей, любя их всей силой своей души, он требовал от них прежде всего гордости и непреклонности по отношению к врагам.

— Ни одной мольбы, ни одного звука страдания не должны они уходить из наших уст, — часто говорил он мне, — и если вы хотите сохранить душевное равновесие, то держите себя так, чтобы враг преклонил колени перед вашим мужеством. Помните, что дороже всего в мире для революционера честь; и если на ней будет пятно, то оно отравит последнее утешение — сознание своей правоты; тогда ваши же товарищи отвернутся от вас, и я первый брошу в вас грязью.

Когда он говорил так, я чувствовал, что в этом случае не найдется слова прощения в душе этого милого человека.

В часы, которые я проводил с Мышкиным, и забывал я о тюрьме, и о казни; предо мною вставал только идеал социализма.

дучезарный и ясный, и дорога к нему, усеянная трупами и открытая страданиями, по которой гордо и смело шагает революционер, такой же прекрасный, как сама идея, осеняющая его. И когда я вспоминаю о Мышкине, я думаю, что и он будет в числе бесчисленных трупов, валяющихся на ней. Я не ошибся. Через месяц после освобождения Мышкин был убит во время феодосийского погрома.

Для успешного выполнения задуманного плана мне надо было быть переведенным в другую камеру. По совету товарищей я должен был за два дня до побега попросить начальника тюрьмы перевести меня в другое место, на том основании, что работающий по соседству с моей камерой сапожник-уголовный своим стуком не дает спать. Так как свободной камеры, кроме той, которая нужна была мне, не было, то предполагалось, что меня переведут именно в нее.

Когда в шесть часов вечера ко мне вошел для обычной проверки начальник тюрьмы, и обратился к нему с соответствующей просьбой.

В ответ раздался слова хуже отказа:

— Да вам все равно недолго здесь сидеть: скоро вас переведут в другую тюрьму!

«Скоро» на языке начальника значило «завтра». Завтра меня снова переведут на пловучку или в тюрьму, откуда побег невозможен. Наши опасения не оказались напрасными. На Мышкина эта новость действовала так удручающе, что даже мне пришлось утешать его. Когда оба мы справились, наконец, с первым впечатлением неожиданной вести, у нас явилось желание бороться до последней крайности. Снова стали мы перебарывать в уме все входы и выходы тюрьмы, и вдруг обнаружился новая возможность побега; все можно было устроить в следующую ночь.

Я изложил весь новый план на бумаге и переслал другим членам нашего комитета, но было уже четыре часа ночи; товарищи уже спали и записку могли получить с утренней проверкой.

Утром на прогулке я встретился с Н. Известие о переводе действовало на него так же, как и на Мышкина; он уже передал записку в город, но как бы предчувствуя, что все напрасно, с грустью смотрел на меня. Проходя после прогулки к себе, он подбежал к дверям моей камеры, открыл замочек¹ и послал мне горный привет.

Воднение товарища сообщилось и мне, и я захотел увидать Мышкина. Несмотря на всю нашу близость, мы еще не видели друг друга; маленькое отверстие, через которое мы говорили, не позволяло нам видеть лица собеседника; на прогулку же нас вывели в одно время, но гуляли мы на разных дворах.

Я сообщил о своем желании Мышкину.

¹ Замочек — небольшое отверстие в дверях камеры, через которое надзиратели наблюдают за арестованными и передают им пищу.

— Ладно, — ответил последний, — я сегодня откажусь от прогулки и буду сидеть у окна, таким образом, мы увидимся, когда вас будут выводить гулять.

С восторгом ждал я прогулки, и, когда отворили двери моей камеры и надзиратель прокричал мне прогулку, я почти бегом бросился во двор.

За решеткой окна Мышкина я увидел большие черные глаза. Эти глаза, полные тоски и ласки, занимали все его лицо; никогда не забыть их мне! Увидев меня, Мышкин попробовал ободрило улыбнуться, но в эту минуту отворились тюремные ворота, и во двор вошли два конвойных солдата.

— За вами, — невольно вскрикнул Мышкин.

Он не ошибся; через несколько минут мне приказали собираться. Когда я подошел к дверям камеры, Мышкин стал неслышно стучать в дверь. Испуганный надзиратель поспешно открыл ее, и мы бросились друг к другу.

— Прощайте и будьте бодры, — прошептал он.

— Помните обо мне, — ответил я.

Через несколько минут я уже шагал по тюремному двору к воротам; все товарищи стояли у окон.

— Прощайте, товарищи! — крикнул я им.

— До свидания, товарищи!

— Мы еще придем за вами!

— Освободим вас! — загудела тюрьма.

Ворота захлопнулись...

IV. НА ВОЕННОЙ ГАУПТВАХТЕ.—ПОБЕГ.

Мы шли по пыльным и жарким улицам; тяжелая солдатская шинель висела у меня на плечах, душила меня, но еще больше томил меня неизвестность. Из разговора с солдатами я узнал, что меня ведут в штаб крепости, а оттуда отправят в другую тюрьму. О последней солдаты слыли ничего не знали.

Была табельный день, и перед зданием штаба крепости проходила парад, на котором должен был присутствовать Чухини. Офицеры штаба участвовали в параде, а оттуда отправит в другую тюрьму. О последней солдаты слыли ничего не знали. Была табельный день, и перед зданием штаба крепости проходила парад, на котором должен был присутствовать Чухини. Офицеры штаба участвовали в параде, а оттуда отправит в другую тюрьму. О последней солдаты слыли ничего не знали.

Но вот где-то раздастся и проносится по рядам крик «мирно!». В ту же минуту офицеры бросились по местам, сол-

даты выпрямились, и все застыло. Где-то раздалось солдатское приветствие и, приближаясь к нам, остановилось у окон штаба; перед нами появился Чухини.

Маленького роста, толстый, с большой головой на короткой шее, он производил впечатление какой-то каракатицы. И каракатица повернулась лицом к матросам и стала произносить речь. Я оглянулся кругом и увидел, что конвойные всецело поглощены проходящим на параде; дверь на улицу была открыта. Осторожно сделала я несколько шагов вперед... минуту... и я свободен!.. Вдурт раздается бряцание шпор и прямо против меня в дверях ярос офицер. Услышала бряцание и солдаты, и мелькнувшая передо мною свобода снова исчезла.

— По распоряжению главного командира вице-адмирала Чухини, вас переводят в военную гауптвахту, — обратился ко мне пошедший, который оказался адъютантом начальника штаба капитаном Олонгрэн. — Всякие заявления о кингах, продуктах вы можете делать мне лично при обходах. Но совету я вам держать себя осторожно. Знаете, на гауптвахте все по-военному: винтовки заряжены, охрана имеет полномочия действовать оружием... Солдаты, — добавил он, — отведи арестованного на главную военную гауптвахту.

Конвойные снова окружили меня, и мы тронулись. Солнце уже перевалило за полдень, когда мы вошли, наконец, в гауптвахту. Она представляла одноэтажное здание, обнесенное со всех сторон высокой стеной. Небольшая дверь, около которой ходил непрерывно часовой, вела в большую и светлую комнату — каральное помещение, наполненное солдатами, которые обсыкали меня и через длинный коридор провели в камеру.

Тяжелая, покрытая железом, дверь захлопнулась за мной, и я очутился один в довольно большом и светлом помещении. При первом же беглом осмотре ее я заметил, что побег отсюда невозможен: толстые стены, высокие с прочными решетками окна, часовые, гулющие вдоль окон и дверей, множество солдат, расценных повсюду, делали мысль о побеге невозможной и абсурдной.

Сначала меня охватила бешеная злоба на Чухини, по милости которого я попал сюда; и всплыли коротенькую фигуру и готов был бы изорвать ее, если бы только она попала в мои руки.

Маршируя в таком настроении из угла в угол, я почувствовал с особой чуткостью, развинувшейся по времени одиночного заключения, что кто-то стоит у моего плеча. Я подошел к двери.

— Не нужно ли чего в город передать, господин студент, — Раздался в ту же минуту из-за нее чей-то голос.

— А вы кто такой? — спросил я говорившего.

— Сторож при гауптвахте.

Я, конечно, согласился на это предложение, и через несколько минут сторож отправился в город с запиской.

Вечером Бурцев (так звали сторожа) вошел в мою камеру и передал ответ товарищей. Только теперь я увидел хорошо этого человека, сыгравшего впоследствии такую важную роль в моей жизни.

По его длинным русым усам, нежному калмыцкой голове, бесконечному юмору и плутовству, светящемуся на его лице, в нем сразу можно было узнать малоросса, умного, пронырливого и беспечно-веселого.

«С ним нужно держать ухо востро: вокруг пальца обведет», — подумал я, глядя на него.

— Если хотите, я завтра могу еще одну записочку снести, — сказала мне Бурцев.

— Ладно, — ответил я, — завтра поговорим.

Бурцев удалился.

Несколько дней прошло в самой пустой переписке, но ясно было, что обе стороны, т. е. и я и «вольные» товарищи, с одной стороны, а Бурцев — с другой, смотрят на нее, как на что-то необходимое, за чем должно последовать другое, более важное. И мы и Бурцев чувствовали, что пока идет только настройка инструмента, а самая игра еще впереди. Но никто из нас не решился начать ее.

В такой выжидательном положении прошла неделя.

Переписка не занимала пока у меня много времени, и, пользуясь этим обстоятельством, я стал наблюдать жизнь тюрьмы.

Однажды, передав мне записку с воли, Бурцев лукаво подмигнул мне и сказал:

— Ну, что же, господин студент, бежать надо?

— Да, это не мешает, — спокойно ответил я. — А разве отсюда уйдешь?

— Уйти-то можно, только бы деньги были, чтобы солдат подкупить.

— Ну, ладно, — ответил я, — переговорышь сегодня с «вольными».

Я часто задавал себе вопрос о том, что заставило Бурцева сделать этот первый шаг, и сначала не мог дать себе прямого ответа. Было в нем что-то плутовское, что не позволяло вполне доверять ему; и я думаю, что подлощил он к нам из корыстных целей. Не особенно доверил ему, и «вольные» и занялись пока пропагандой его; мы пользовались каждым моментом, чтобы пробудить в нем хорошие чувства и сделать сознательным и честным человеком. Умный и впечатлительный, как и все малороссы, Бурцев скоро начал поддаваться нашей пропаганде, и мне пришлось наблюдать замечательное явление: перерождение человека. С каждым днем можно было наблюдать, как он все строже и вдумчивее относился к нашим словам и из ловкого авантюриста превращался в вполне убежденного человека, готового пойти на все, чтобы спасти товарища. Тогда «вольные» и я по-

няли, что наступил самый подходящий момент для решительных действий.

Слова начались для меня тревожные дни обсуждения проектов побега. Усиленная переписка отнимала массу энергии, так как сильно затруднялась тем положением, в котором находился Бурцев.

Дело в том, что караул на гауптвахте менялся ежедневно; но, кроме часовых, здесь были еще сторожа, исполнявшие чисто хозяйственные функции: приносили арестованным обед и ужин, тушили лампы, убирали коридоры.

Сторожа эти (всего их было шесть человек) находились постоянно при гауптвахте, а начальником их был Бурцев, состоявший в чине ефрейтора. Сторожем запрещалось подходить к камерам арестованных, за исключением времени обеда и ужина, когда тут же находился унтер-офицер.

Благодаря этому обстоятельству, сношения со мной были крайне затруднительны, и понадобилась вся хитрость и смекалка Бурцева для того, чтобы при таких условиях вести частую переписку и продолжительные разговоры.

Меня эта переписка изуряла до крайности. Бывало, в двенадцать часов ночи я просыпался от стука: предо мной стоял и унтер-офицер и Бурцев, в руках которого чайник с кипяченой водой.

— Вам фельдшер приказал на ночь кипяток, — получите, — обращается он ко мне, ставя чайник на стол, и ловким движением кладет под него записку.

Двери затворяются, и мне, несмотря на бешеное желание спать, приходится начинать чаепитие.

Утром надо просыпаться с зарей, чтобы не пропустить удобного момента для передачи ответной записки; и целый день проходит в таком ожидании; ни на минуту не решаешься заснуть, чтобы не пропустить прихода Бурцева, а вечером опять ждать письма «вольных», часто до двух часов ночи.

После двухнедельной переписки было намечено несколько планов. Все эти планы можно было разделить на такие, при выполнении которых мы обходились всех часовых, и такие, для которых нужно было заручиться помощью хотя бы одного часового.

Первые, конечно, были сопряжены с известным риском и отличались большой сложностью; вторые, наоборот, отличались прочностью и были на первый успех; но короткое дежурство солдат не позволяло нам привлекать их к нашему делу. В виду этого обстоятельства мы сделали попытку привести в исполнение один из первых проектов. Он состоял в следующем: я уже говорил, что утром арестованных выводили в коридор, который соединялся с караульными помещениями; против же самых умывальников находилась небольшая комната, служившая м. цейхаузом¹.

¹ См. план тюрьмы стр. 101.

² Склад солдатского инвентаря.

Рядом с последней находилась надзирательская, помещенные сторожей. Сторожа же носили особую форму и благодаря этому могли свободно входить и выходить из гауптвахты; за короткое время дежурства часовые не могли знать в лицо сторожей и различали их по форме. На этом последнем обстоятельстве мы и построили довольно простой план побега.

Пользуясь своим почти бесконтрольным заведыванием хозяйством гауптвахты, Бурцев решил в утро, когда будет дежурить «хороший» унтер, устроить проветривание тюремных постелей. Арестованные должны были ввести их в мал. цейхауз, из которого сторожа выносили их во двор гауптвахты. Для этого последний надо было войти в караульную, пройти ее и через дверь, выходящую на площадку часового, выйти на улицу. Затем они заворачивали за угол стены и через тюремные ворота входили во двор гауптвахты.

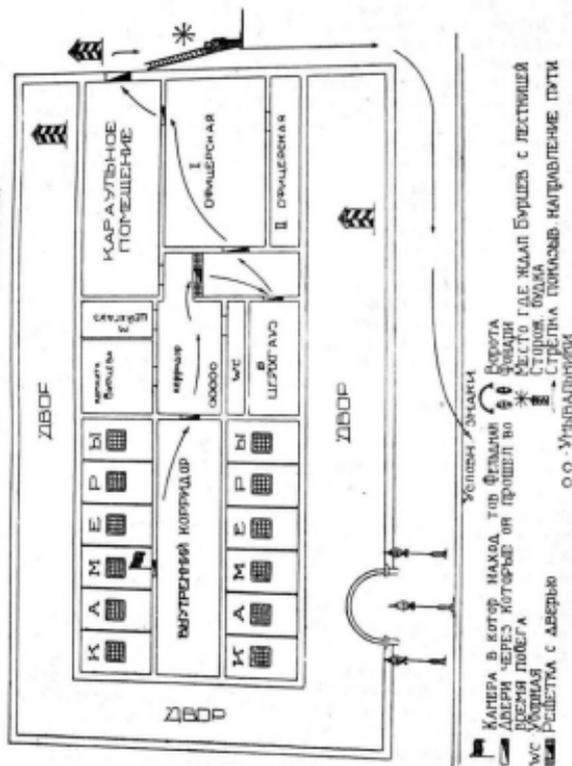
Выйдя в этот день умиываться вместе с несколькими арестованными, я должен был незаметно, в тот момент, когда Бурцев отвлек внимание часовых при помощи порнографических открыток, войти в мал. цейхауз, быстро переодеться в заранее приготовленное платье тюремного сторожа, накинуть на голову тюфяк и под видом сторожа выйти на улицу, завернуть за угол и затем бежать.

Однажды вечером Бурцев сказал мне, что завтра свершится побег. На другой день действительно уже с шести часов утра открыли камеры всех арестованных, и они целыми толпами шли умиываться. Открыли и мою камеру; сквозь решетчатую дверь, отделявшую наш (внутренний) коридор от другого коридора, я увидел сторожей, выносящих тюфяки, и Бурцева, показывавшего солдатам какие-то открытки. Я готов был идти, но Бурцев не дал мне условленного пароля. В ожидании его я занялся уборкой своей камеры; кончил и это дело, а Бурцев все не давал пароля. Мне же и в голову не приходила мысль, что Бурцев мог забыть это сделать. Когда же он опомнился, было уже поздно: унтер заметил мою возню, и, когда я пошел, наконец, умиываться, отправил за мною двух часовых. Эта неудача заставила нас попытаться провести другой проект, с которым я сейчасознакомлю читателя.

Принцип его был тождествен с вышеописанным проектом: я должен был выйти из гауптвахты под видом тюремного сторожа. Но для этого мы решили воспользоваться другим моментом — тушением фонарей, производящимся сторожами между 3—4 часами утра. Фонари эти находились перед входом в длинные гауптвахты и во дворе последней, где непрерывно шагали часовые.

Таким образом, переодетшись в платье сторожа, я, под предлогом тушения фонарей, находящихся во дворе, мог выйти на улицу, направиться к воротам, но, скрывшись с глаз часовых, пойти по другому направлению в город; но и в этом случае побег

ПЛАН ВОЕННОЙ ГАУПТВАХТЫ.



— Ну, идите,—сказал Штрык, снова отворяя дверь мой камеры. Я сделал уже несколько шагов к двери, но вдруг я вспомнил про Чухлина, по милости которого меня перевели сюда, и меня охватило желание постоять над ним. Вспомнил, что для меня в штабе крепости осталось 10 рублей, из которых я израсходовал 60 копеек, я схватил карандаш и написал записку следующего содержания:

«Оставшиеся в штабе крепости девять рублей сорок копеек прошу передать на-чай главному командиру Чухлину за то, что он позаботился перевести на гауптвахту и тем помог бежать». Положив эту записку на стол, я почувствовал себя удовлетворенным и побжал в цейхгауз. Едва и вбежал в него, пробная три часа, и произошла смена.

Я стал надевать на себя солдатское платье. И тут увидел, что мои напоминания товарищам о кушаке и сапогах оказались напрасными: кушак не было, а приготовленные сапоги не вылезли из ноги. Это обстоятельство вывело меня из терпенья, и я с бешенством набросился на Бурцева, когда тот вошел в цейхгауз.

— Ну, об этом не беспокойся,—ответил он с чисто хохлатым спокойствием.—Вместо кушака подучай шинель, а сапоги сейчас достану.

С этими словами Бурцев вышел из цейхгауза. Я с любопытством стал следить за ним через коридорную дверь, недоумевая, где может он достать в такое время сапоги. И вот вижу я, как мой Бурцев входит в караульное помещение и оглядывает ноги спящих солдат.

«А, есть!»—мелькнуло у него на лице. И, подошедши к какому-то солдату, он стал стаскивать с него сапоги.

— Га! чало?—пробурчал последний сквозь свой богатырский сон.

Но он невозмутимо продолжал свое дело, и через несколько минут сапоги были уже на моих ногах.

— Ну, теперь идем,—сказал мне Бурцев.—Внимание часового я отвлек: сказал ему, что ко мне должна девчонка с часовой стороны прийти на свидание. Дал ему полтину на-чай, он и устался тудя.

Мы вместе пошли в офицерскую. Тут я остановился на минутку, а Бурцев пошел вперед. Когда я вышел на улицу, он уже стоял на площадке.

— Вот бери лестницу и иди туши, сперва во дворе, а потом тут,—громок сказал он мне, указывая на лестницу, стоящую у фонаря. Левой походкой я направился на лестницу, стонущую — Да скорей! Пошелвайвай!—крикнул Бурцев, сопроводив слова крепким ругательством. Я немного ускорил шаг, и через минуту скрылся с глаза часового.

Тут только я почувствовал себя на свободе...

V. НА ВОЛЕ.

Какой-то вольный и живительный ветерок охватил меня, и все внутри отозвалось на его ласку.

В ту же минуту я услышал за собой шаги: это бежал Бурцев. Действовавший до сих пор удивительно спокойно, он вдруг потерял самообладание.

— Бежим, Костенька, бежим!—сказал он мне и, схватив меня за руку, стал увлекать меня под гору.

Напрасно я успокаивал его, убеждал идти спокойно, указывая на опасность слишком поспешного бегства: Бурцев тащил меня все дальше и дальше и остановился только тогда, когда мы пробежали давно то место, где нас ожидали товарищи. Когда мы вернулись обратно, товарищей уже не было.

— Ну, что теперь будем делать? — вскричал Бурцев, хватая себя за голову.

— Ты знаешь какой-нибудь адрес?—спросил я его.

— Нет!

— А квартира, в которой ты встречался с товарищами, где находишься?

— Туда нельзя идти в солдатском,—там много полиции.

И действительно, я был без кушака, и каждый городской мог арестовать меня за непорядок формы.

— Знаешь ты кого-нибудь, где бы можно было переодеться?

Но Бурцев растерялся и в продолжение целого часа тащил меня по каким-то темным, грязным улицам. Наконец, он очутился.

— Ну, ладно, есть у меня хорошие люди на примете,—вымолил он, наконец,—пойдем к ним. — И стал он водить меня по «хорошим людям».

Сначала он завел меня к одному «куму»—дворнику; тот понял, что дело неладно, и хотел нас арестовать. Надо было действовать: я бросился на него, ударил его с размаху, Бурцев навалился на него со своей стороны, и кум улетел без чувств на землю. Тогда мы выскочили, замкнули снаружи дверь его комнаты и удрали. Вторым «хорошим человеком», к которому привел меня Бурцев, оказался один из сторожевых солдат. Этот просто выгнал нас, но зато у него я достал кушак. Между тем уже совсем рассвело, и приближалась минута, в которую должен был обнаружиться мой побег.

— Ну, теперь идем на квартиру,—сказал я и решительно направился к извозчику. Он продолжал было упираться и предлагал зайти еще в харченко, обдумать положение, но моя решимость подействовала на него. Мы наняли извозчика и поехали к конспиративной квартире: это была квартира известного на

юге социал-демократа Канторовича¹; находилась она почти у самого Нахимовского проспекта. За несколько кварталов до нашей квартиры мы остановились извозчика.

— Пасти!—сказала я Бурцеву. У него, как на беду, оказалось только две пятирублевые монеты; одну из них я и дал извозчику.

— Сдачи нет!

— А у меня других нет!

— Ну, меня!

Лавки все были закрыты, пробовали менять у прохожих, но все напрасно. Наша группа уже стала обращать на себя внимание. Между тем уж была шестая час, каждая минута промедления была опасна. Что делать? Дать извозчику пять рублей значило сразу возбудить его подозрение. Я пустился на хитрость: классическим жестом я почесал свой затылок и, обратившись к извозчику, сказал:

— Да дай же, братец, сдачи! Мы и так загуляли; офицер, води, встал уже! Знаешь, наше дело солдатское!

— Да нет у меня, толком говорю тебе!

— Ну, нам стоять нельзя. Бери пять рублей да скажи, где стонит; приду к тебе за сдачей. Отдашь ведь? — умолял я его. Извозчик и тут запротестовал.

— Не хочу твоих денег, вотом скажешь, что десять аль двадцать рублей дал мне.

Долго мне еще пришлось убеждать его, прежде чем он согласился отпустить нас...

Ворота того дома, где жила товарищ Канторович, были уже открыты и дворник заметал улицу. Выскочив минуту, когда он отвернулся, мы незаметно проскользнули во двор. Но вход на лестницу, где находилась квартира товарищей, был закрыт. Тут уж мы не вытерпели и с такой силой навалились на дверь, что она подалась. Через минуту мы были окружены своими. Началась передевка, но вдруг на лестнице промелькнула солдатская форма, и раздались звонки.

«Обыск!»—пропелось в головах товарищей, но робкий, почти умоляющий голос, раздавшийся в передней, заставил нас вспомнить о забытом часовом Штрыке.

В три часа ночи он подвел смеявшегося его солдата к дверям моей камеры и, указав на чуело, сменился с ним. До рассвета вился к городу. Между тем, товарищи, прождав меня лишней час, решили, что побег не удался, и отравились домой. Не

¹ Тов. Канторович—тогда член Севастопольского комитета РСДРП. В 1906 г., осужденный за участие в военно-флотской организации гоним. Севастополя был беглец, гонимый между прочим, за участие в организации гоним. в Шансской колонии революцией 1917 года. Тов. Канторович принимал участие в Октябрьской революции в качестве члена Совета Рабочих Депутатов. Умер в 1920 году.

найдя их на условленном месте, Штрык ужаснулся: ему показалось, что он сделается жертвой обмана. Полный тревог и опасений, он отправился по данному мной адресу. Лицо и голос его были полны ужаса, когда он рассказывал, что переживал он до прихода сюда.

В Севастополе мы пробыли несколько дней.

На моих глазах совершались поиски, раз'езжали патрули; товарищи говорили, что весь порт и вокзал оцеплены войсками и производится строжайший осмотр всех путешественников. Весь город был взломаннон побегом, а Чухжин пришел в ярость.

Скрываясь в квартире редактора местной газеты гр. Спири, мне пришлось слышать из уст севастопольского полицеймейстера рассказ о том, как Чухжин звал его к себе, топал на него ногами и приказывал в тот же день разыскать всех троих. «А не найдете,—всех под суд отдам!»—кричал адмирал, задыхаясь от злости.

— А где их найдешь? Они, чай, давно уж в Румынии,—сокрушительно говорил полицеймейстер, не подозревая, что я так близко от него нахожусь.

Такие сцены, когда мне самому рассказывали о ловком побеге Фельдмана, происходили, впрочем, очень часто. Особенно запомнилась мне одна из них, происходившая в одном русском городе через три недели после моего бегства.

Выезд мой из Севастополя был прекрасно обставлен: в богатом ландо, запряженном четверкой коней, сидела веселая компания, состоявшая из роскошно одетой девицы, тов. Иоффе (тогда активный работник Крымского комитета РСДРП, а ныне член Юлалегин НКВД), Бурцева и меня. Мы пели, шутили, смеялись, и никто не мог заподозреть, что в этой компании есть люди, которым грозит казнь.

Едва от'ехали мы, как я почти невольно вскрикнул:

— Караульный начальник!

— Прямо против меня, верхом на лошади, проезжал офицер, лежурнивший за неделю до моего бегства на гауптвахте; еще там он обнаружил свои хулиганские инстинкты, натравившая на меня часовых. Теперь, очевидно, он выехал на дорогу искать меня. Дружный варья хохота товарищей заглушил мой крик, и офицер, не узнав меня, проезжал мимо нас.

Этот случай заставил нас поменять местами: я сел спиной к дороге, а тов. Иоффе сел на мое место.

Предосторожность не была излишней, так как через несколько минут мы встретили одного из унтер-офицеров, стерегших нас на гауптвахте, а через час Бурцев увидел недалеко от нас своего начальника, капитана штаба Севастопольской крепости. Все эти господа, очевидно, искавшие нас, никак не могли предположить, что в такой обстановке, среди бела дня, ехали государи, что в такой обстановке, которым грозит смертная казнь. Они, вестственные преступники, которым грозит смертная казнь, украдкой прибравшимися по дороге.

Отец тов. Иоффе был в то время каким-то важным путевым чиновником в Крыму; ему, если не ошибаюсь, было подчинено Управление крымских шоссе-ских дорог. «Слава» отца распространялась на сына; его знали, как сына своего отца, не подозревая в нем видного русского революционера. Я помню, например, что при нашем прибытии на станцию, когда тов. Иоффе бросал вместо подорожной свою фамилию, все приходило в волнение, вытягивалось в струнку, и нам, не в пример прочим путешественникам, точно же давали свежих лошадей. Таким образом тов. Иоффе служил мне надежным прикрытием.

Помню, как во время одной стоянки, кажется, в Ливадии, к нашей карете стал приближаться урядник; она, очевидно, вызвала в нем подозрение, и он решил заглянуть к нам. Я шепнул об этом Иоффе, и тот немедленно вышел из кареты навстречу уряднику. При виде его, последний выпрямился, отдал честь и, как бы боясь, что Иоффе догадается о его скверном намерении заглянуть в карету, удалился быстрыми и мелкими шажками.

Так мы доехали до Симферополя. Здесь я расстался с Бурцевым. Его через два дня наши товарищи переправили в Одессу, где он встретился со Штрыком; последнего отправили в Одессу пароходом. Из Одессы Бурцева и солдата Штрыка отправили к границе, и через неделю они уже перешли ее.

Через месяц после побоя, в сопровождении опытного и «контрабандных» делов товарища, я ехал к границе. На вокзале маленького пограничного города нас встретил контрабандист, которому мой товарищ заранее дал телеграмму. Вместе с ним мы сели в приготовленный экипаж и отправились в маленькое местечко, лежащее перстах в тридцати от границы. Здесь в маленьком и грязном домишке контрабандиста должны были мы ждать наступления вечера.

Как только мы вошли в парадную козину, нас окружил целый толпа молодых и здоровых парней—детей контрабандиста. Воспитанные на опасном промысле своего отца, они были так же ловки и проворливы, как само их ремесло. «Что слышно, как дела?»—набросались они на моего спутника, их старое знакомое. Пока он удовлетворял их любопытство, в козину вошел сам контрабандист. Орлиный нос, пронзительный взгляд и мигкие кошачьи движения делали его похожим на хищника. Сорвав лет подпольного ремесла наложили резкий отпечаток на этого человека...

— Когда мы выедем?—обратился к нему товарищ.
— В девять часов вечера. Политический? — в свою очередь, спросил старик, окидывая меня испытующим взглядом.
Не желая возбуждать подозрения старика и стараясь обставить сегодняшний переезд лучше обычного, товарищ выдал меня за своего компаньона, едущего в Австрию за большими транспортом товара.

— Мы направим этот товар через нас же,—сказал он,—но дело это спешное и через неделю должно быть окончено. Поэтому мы устроим сегодняшний переезд так, чтобы не было никаких задержек.

— Тогда и сам поеду с вами,—сказал старик.

В десять часов вечера нас повели через потайную дверь в конюшню. Здесь уже стояли лошади, запряженные в телегу; мы влезли на нее.

— Готово?—спросил возница.

— С богом,—ответил старик,—посажай!. У пруда я тебя нагоню.

Ворота распахнулись, и мы выехали.

— Почему же здесь принимают такие предосторожности?—спросил я у товарища.

Он объяснил мне. Оказалось, что у этих контрабандистов дело поставлено так, что самый переход через границу не представлял никакой опасности,—переводит сами же караульные солдаты. Опасна, однако, при переходе в Австрию или обратно, дорога до границы, так как за двадцать верст до нее производится объезд. Объездников, по причине их частой смены, подкупить невозможно, и они арестовывают всякого встречного в пограничной полосе.

В условленном месте нас догнал на маленькой, однокошней тележке старик с одним из своих сыновей.

С какой-то особенной осторожностью доехали мы до границы—небольшой деревушки.

— Стойте,—сказал нам старик, а сам поехал вперед. Видно было, как он остановился, слез с тележки и куда-то пошел. Через десять минут он вернулся и сказал, что жандармов в условленном месте нет.

— Постойте тут, я еще пошучу,—сказал он нам и с проворством кошки исчез в темноте.

Прошло полчаса. Мы стояли в самом опасном месте и каждую минуту могли быть захвачены объездом. Естественно, что в ночной темноте крутом рисовались призраки, и товарищ вдруг сказал мне:

— К нам едут солдаты! Слезайте, спрячьтесь в овраге!

Мы осторожно сошли с телеги и подскоком спустились в каку-нибудь яму. Там пролежали мы целый час; солдаты были порождением фантазии.

Наконец, к нам спустился старик.

— Надо ехать обратно: надул нас жандарм, не пришел,—сказал он.

Пришлось снова проезжать все опасные места. Поздно ночью мы возвратились в дом контрабандиста.

С утра следующего дня старик послал уже своего сына предупредить жандарма о ночном переезде.

Как раз в этот день вся полиция местечка, в котором мы находились, была поставлена на ноги: накануне арестовали шесть

человек, приехавших из Австрии. Трое из пойманных утром же удрали из полицейского участка. По всем дорогам были расставлены полицейские посты, и только благодаря ловкости и опытности старика нам удалось миновать их.

В двенадцать часов ночи мы подошли к границе; жандармы уже ждали нас, но объявили, что переход будет возможен только в три часа ночи.

Покамест нам разложили в поле брезент, лежа на котором, мы должны были ждать момента переправы. Лил дождь, и отчаянная сырость и холод охватывали нас. Прижавшись друг к другу, мы с товарищем старались согреться теплотой своих тел.

Ровно в три часа к нам подошли солдат и жандармы. Последний взвалил на плечи наш багаж, и мы тронулись. Вскоре перед нами была дорога. Солдат остановился, передал жандарму свою винтовку, сказал: «Это — граница! Старайтесь не делать следов», и двинулся вперед. Через минуту мы были в пределах Австрийской империи.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В Вене, куда я попал сейчас же после перехода границы, я узнал от Раковского, что Дымченко с группой других потемкинцев живет в Цюрихе.

А еще через неделю я спешил уже к нему по улицам Цюриха. «Точно спардак», — думал я, поднимаясь по узкой винтовой лестнице населенного дома рабочего квартала.

Он ждал меня наверху у входа в комнату; тот же загорелое, открытое, честное лицо, те же лучистые глаза.

В маленькой комнате пережогу из объятий и объятий; тут лучшие боевые товарищи: Денисенко — чудо-мастер и чудо-богатырь — исполнский детина и тончайший искуснейший саесарь-механик, выскочка и отважный Кулик, умный красавец Резниченко...

Они не долго пробыли в Румынии. Тесно и душно было в этой стране ребятям, почувшившим уже знойное дыхание революции.

Тянуло на Запад, в большие промышленные страны, хотелось приобщиться к борьбе промышленного пролетариата.

Прежде всего решили проехать в Швейцарию — этот центр российской революционной эмиграции, чтобы разобраться там в сложных политических вопросах и набраться «ума-разума», как просто выразился Денисенко.

Денег не было, но был Денисенко, и его послали ходяком.

Ребята были без промаха. Денисенко приехал в Цюрих, пошатался по улицам, отыскал какой-то завод, проник в него, и тут произошло нечто, о чем долго разговаривали потом в Цюрихе: никого ни о чем не спра-

шивая, наш богатырь пошел в мастерскую, отбросил от станков трех мастеровых и стал один работать за них. Сначала его хотели избить, потом, удивленные его искусством, стали шумно приветствовать.

Конечно, его немедленно зачислили в штат фабрики и выдали аванс на проезд в Цюрих из Букаresta еще трех товарищей...

«Ладно, пожием пока тут четвергом, а там дальше идем в Айрду и туда же переждем всех наших из Румынии».

Рассказали о сдаче корабля...

В Феодосии, по возвращении катера после обстрела, все было убеждены, что оставшиеся на берегу погибли. В частности обо мне команда катера рассказывала, что я утонул на ее глазах.

Да и не до нас было. Среди команды начался раскол, и корабль снялся в Румынии. По дороге, ночью, состоялось тайное собрание революционной части команды: решили корабль не оставлять. А так как большинство команды настаивало на сдаче и открыто бороться против этого уже было невозможно, — решили сделать так: сторонники дальнейшей борьбы — их было около двухсот — должны были задержаться, под разными предлогами, на корабле, покада вся остальная команда будет высаживаться на берег. Затем, неожиданно для своих и для румын, поднять якорь и снова отплыть к русским берегам.

Но на собрании оказался предатель: утром, когда подпальывали к Румынии, все глядели друг на друга сумрачно. И были ли предупреждены кем-либо румыны, или сами догадались, но предельно эвакуация уничтожала всякую возможность осуществления этого намерения: спускали матросов с корабля по их «частям», начали с командоров (пушкарей), перешли к машинистам и не приступали к эвакуации одной «части», покада не спускали на берег всех матросов друтой...

Денисенко все же умудрился сойти последним: он долго возился в машинном отделении, и никто так и не узнал от него, что он там делал: спасал ли от румын дорогие приборы и условный морской шифр или приводил в негодование, как об этом писали потом в газетах, машинные котлы.

Думаю, что он был занят первым...

По крайней мере, опубликованная сейчас дипломатическая переписка между царскими военными и дипломатическими представителями в Румынии и петербургским правительством, notwithstanding на ненависть к потемкинцам, которой пропитана каждая строка этой переписки, неоднократно отмечает высокую дисциплинированность матросов и сознательное, бережное отношение их к корабельному имуществу.

«Если на броненосце пропало много судового имущества, — доносит наш аташе в Румынии, Дермонтов, министру иностранных дел графу Ламсдорфу, — то, на основании имеющихся у меня

денег, я могу прямо сказать, что некоторая его часть разграблена румынами»¹.

В другом доведении Лермонтов говорит уже более определенно, что все ценные приборы, исчезнувшие с броненосца, были увезены румынами «скорей всего после визита на броненосец румынского премьер-министра Кантакузена». Кантакузен находился в Констанце во время сдачи «Потемкина» (он здесь случайно председательствовал на каком-то банкете) и после эвакуации экипажа, ночью, прямо с банкета, в сопровождении подкупленных гостей, среди которых было много дам, отправился осматривать сдавшийся броненосец; «а за этими лицами потянулись к броненосцу все, кто только ни пожелал».

«Секретный агент департамента полиции, проживающий в Румынии, — продолжает свое доведение Лермонтов, — довел мне, что множество предметов с судна продавалось в Констанце за бесценок, а когда он спросил у нескольких матросов, зачем они разграбили судно, они отвечали ему: «Мы, ваше благородие, ничего не взяли с собой, все оставили на броненосце»».

«Со слов очевидца мне известно, что некоторые из матросов, покидая свой корабль, плакали».

Как известно, судовая касса в размере 24 000 руб. была распределена поровну между всеми матросами, чтобы дать им возможность просуществовать несколько недель до присылки работы. На каждого матроса пришлось что-то около 80 франков (32 рубля на наши деньги). Раздачу денег производил Матюшенко... И вот случилось так, что некоторые матросы, приглашенные в гости к румынским рабочим, не успели получить во время раздачу своей доли. На руках у Матюшенко, торопившегося выехать из Румынии, осталось несколько тысяч франков, которые он имел намерение «сдать на хранение» префекту города Констанцы. Этот акт «честности» настолько удивил нашего посланника при румынском дворе, гофмейстера Гирса, что кажется ему совершенно неправдоподобным.

«Румынский министр иностранных дел, — доносит он, — довел мне во вверенную мне миссию, представляемые мною в отдельном пакете 2 431 франк 80 сантимов деньгами и 800 руб. нашей четырехпроцентной государственной ренты».

«В препроводительном письме генерал Лаговари сообщает, что эта сумма была будто бы передана констанцкому префекту матросом Матюшенко, забывшим, что она осталась у него после раздачу денег, находившихся на броненосце «Князь Потемкин», так как не все матросы присутствовали при этой раздаче»².

Наконец, несколько не удивляет, что Матюшенко не прислал себе общественных денег, но зато каким явным кажется доверие Матюшенко к румынскому префекту! Последний, как

это видно из вышеприведенного рапорта Гирса, вместо того, чтобы хранить подученные деньги до возвращения матросов, для которых они предназначались, поспешил переслать деньги русскому правительству, и последовавшая вскоре после того просьба 55 потемкинцев возвратить эти деньги для выдачи вернувшимся матросам³ осталось, конечно, без удовлетворения.

Отмечая в своих доведениях царскому правительству высокую дисциплинированность и сознательное отношение к государственным и общественным интересам, проявленные высидившимися в Румынии потемкинцами, представители царского правительства, со свойственным им лицемерием, в своих отписках к иностранным правительствам и рисуют потемкинцев, как «уголовных злодеев», настоятельно требуя их выдачи.

«Узнав о прибытии к Констанце «Потемкина» и мирнолюба, — телеграфируют министру иностранных дел Румынии, генералу Лаговари, тот же Лермонтов, — по распоряжению моего правительства мнею честь просить королевское правительство не разрешать экипажу обонх этих судов высиди на румынской территории, а также не снабжать их ни углем ни провизией».

«Одновременно мнею честь также сообщить вам по распоряжению моего правительства, что экипаж обонх этих судов запятнал себя совершением убийства и грабежей»⁴.

В телеграмме от 25 июня на имя того же Лаговари, Лермонтов снова просит обратить внимание на то обстоятельство, что «экипаж обонх судов обвиняется в совершении убийств и грабежей», и требует на этом основании выдачи потемкинцев царской полиции.

Румынское правительство отказывается, однако, выполнить немедленно требование царского правительства, так как, по заявлению Лаговари, «королевское правительство связано в этом деле словом, неисполнение коего может повлечь на отношение королевства к другим европейским державам...».

«Лаговари очень сожалеет, — доносит Лермонтов, — что он не был предпринятен о столь быстром приходе отряда адмирала Писаревского⁵; зная он об этом раньше, он затянул бы переговоры с командой «Потемкина» до прихода отряда Писаревского, и тогда, может-быть, удалось бы принудить команду к сдаче на иных условиях»⁶.

¹ Там же, стр. 228.

² «Красный Армян», 1925 г., т. XI—XII, стр. 207.

³ Дивизию Черноморского флота, состоявшая из двух крейсеров и четырех миноносцев и прибывшая в Констанцу после сдачи «Потемкина».

⁴ Румынский генерал, находившийся в спонт речелат (если только его уверенно были всеобщим испуган) на помощь отряда Писаревского. В Феодосии вассалы тюрьмы, в ночь моего ареста, меня посетил начальник одного из миноносцев, представлявшего «Потемкина». Из бесед с ним мне стало совершенно ясно, что отряд адмирала Писаревского решительно избегал встречи с «Потемкиным». Да и само и быть не могло: помимо неурядицы и задержки отряда «Потемкина», как боевая единица, преследовал своей силой отряд Писаревского.

⁵ Секретное доведение константинопольского советника Лермонтова. «Красный Армян», 1925 г., т. XI—XII, стр. 207.

⁶ «Красный Армян», 1925 г., т. XI—XII, стр. 228.

Сожаев о том, что обстоятельства помешали предать ему козляку «Потемкина», румынское правительство не терпит, однако, надежды сделать это в ближайшем будущем.

«Высказав это, Лаговари просил передать нашему сиятельству, что румынское правительство сделает иным путем все возможное для удовлетворения наших требований. Большинство команды, по его мнению, совершенно неповиное, направлено в провинции, граничащие с Россией, чтобы дать им возможность во всякое время перейти границу. Тамешим властям дано предписание способствовать этому всеми мерами. Матюшенко находится в Бухаресте под строжайшим негласным надзором полиции и при малейшем с его стороны проступке будет выслан в Болгарию или даже прямо в Россию, о чем мистия будет немедленно извещена»¹.

Что означало на дипломатическом языке это заявление о «предоставлении потемкинцам возможности переходить через границу», — понятно никому; в разное время таким способом было выловлено 74 потемкинца, которые немедленно препровождались в Севастополь, предвались там военно-морскому суду и осуждались на многие годы каторжных работ.

В связи с обещанием румынского правительства выслать Матюшенко в Болгарию царским правительством были приняты меры к задержанию его на территории этой страны.

20 июня 1905 года царский посланник в Софии, Бахметьев, телеграфирует в Петербург:

«Болгарское правительство охотно задержит и выдаст преступников с бронюса «Князь Потемкин», ежели они появятся на болгарской территории, но для этого необходимо знать их имена и приметные»².

Однако сочувствие к потемкинцам было настолько сильно среди рабочих европейских стран, что даже болгарское правительство Фердинанда, этого коронованного лакея Габсбургов и к этой операции. Избежав в другом доносении приступить о том, что списки вожakov избутованвшейся команды графа Ламсдорфа уже из Софии местными болгарским властям и русским консулам для поправки матросов в случае появления их в Болгарии, Бахметьев прибавляет:

«Я не сомневаюсь, что болгарское правительство сделает все с тем было бы, мне кажется, желательным, во избежание разногласий и разногласий как в западной, так и в восточной части разрозно»³.

¹ «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 223.
² «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 226.
³ Там же.

Предупрежденный т. Раковским, который в качестве представителя румынской социалистической партии зорко следил за действиями румынской полиции, Матюшенко своим быстрым отъездом в Швейцарию на этот раз благополучно выскокал из искусно закинутой над его головой петлей.

Уже 3 июля Лермонтов, изменяя своему обычному стилю иностранных донесений, меланхолично телеграфирует в Петербург: «Полицейский префект только-что известил меня, что Матюшенко выехал в Швейцарию; при этом заявил, что в виду того, что последний во время пребывания своего в Румынии не совершил никакого проступка, выслать его не представлялось возможным».

Самой собой разумеется, что царское правительство никогда не оставляло мысли о захвате потемкинцев; специальные агенты охранки следили за каждым их движением; и царское правительство широко пользовалось каждым удобным случаем, чтобы снова возбудить перед румынским правительством вопрос о выдаче потемкинцев.

В 1907 году в некоторых провинциях Румынии вспыхнули крестьянские волнения, и, конечно, румынское правительство поспешило заявить, что подстрекателями этого движения были потемкинцы.

Это заявление прозвучало грозным предупреждением о готовящейся выдаче потемкинцев царскому правительству и вызвало сильнейшую тревогу среди европейских социалистических партий; немедленно началась кампания протеста; в крупных промышленных центрах стали организовываться митинги и демонстрации в защиту потемкинцев. Это движение европейского пролетариата заставило румынское правительство отказаться от своих намерений; бдительность европейского пролетариата еще раз расстроила планы царского правительства. 4 мая 1907 года царский посланник в Бухаресте доносит в Петербург министру иностранных дел:

«Хотя участие потемкинцев в последнем крестьянском восстании в Румынии далеко не доказано, тем не менее долгое пребывание в пределах королевства столь многочисленного и маловерного элемента тревожит чужеземное либеральное правительство».

Дальше сообщается о мерах, принимаемых румынским правительством для отправки в Америку потемкинцев; при этом посланник делает осторожную оговорку:

«Донесю о вышеназженном, почтито долгом присовокупить, что хотя румынское правительство и стремится ныне избавиться от потемкинцев, при всем том оно, во мнем впечатлению, окончательного решения об их выслаке еще не приняло»⁴.

К этому времени уже окончательно оформлялись судьбы потемкинской эмиграции. Часть потемкинцев попала в сети, искусно

⁴ «Красный Архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 230—231.

— Слушай, Матюшенко, помнишь Феодосию? Ты неоднократно говорил мне, что за Феодосию—ты мой неплатный должник. Так вот я, твой кредитор, предьявлю вексель к оплате: ты отдашь мне сейчас браунинг, а затем уедешь из Парижа...

— Только не это... понимаешь... поручение группы... не мое личное дело.

По его глазам, потерявшим свой блеск, я понял, что на этот раз я на верном пути...

— Это подло, — меня сочтут за труса...

Теперь уже я вцепился в него мертвой хваткой...

И никогда не забыть мне решительного жеста, с которым он покинул мне свой браунинг, и этого глухого:

— Ладно... завтра я уеду... уходи... сквиталось.

Больше я его не видел... Поздно вечером на другой день Файнгольд сообщил мне, что видел его на Лионском вокзале в вагоне 3-го класса поезда, уходящего в Швейцарию...

Когда Матюшенко был арестован, он ничего не говорил на допросе о Швейцарии... Значало ли это, что он пернулся с дороги обратно в Париж и жил там, скрываясь от русских эмигрантов, или же у него были основания скрывать от жандармов свое пребывание в Швейцарии? Думаю, что Матюшенко действительно был в Швейцарии, связавшись там с русской анархической организацией «Альбатрос», и по поручению этой организации въехал в Россию. И почти убежден, что он стал жертвой провокации, гнездившейся в этой группе.

Почти одновременно с ним въехал в Россию вождь этой группы анархистов, некий Гольденберг (за точность фамилии, за датностью лет, я, впрочем, не ручаюсь). Гольденберг с чужим паспортом проехал в Киев, и на вокзале, по прибытии поезда, к нему в купе ворвались жандармы с ордером на арест; ордер был, очевидно, именной, жандармы с ордером на арест; ордер успел застрелиться и у него были найдены только чужие бумаги, и тот же день в киевских газетах появилось сообщение о самоубийстве при аресте опасного анархиста Гольденберга.

Сопоставляя все эти факты, я тогда же пришел к выводу, что и Матюшенко и Гольденберг въехали в Россию, по поручению группы «Альбатрос», по одному и тому же делу и оба стали жертвой провокации...

Во времена Потемкинского восстания прошло уже двадцать лет, а образ революционного корабля все еще продолжает пленять взоры историков, художников и писателей своей чарующей прелестью...

История нашей первой русской революции знала восстания, над Потемкинским восстанием, на много стоят выше.

Во время шимановского восстания восставшие корабли дали настоящий морской бой, а в Свеаборге в 1906 году матросы таран и оставшиеся верным царскому правительству корабли

и сдались только после того, как расстреляли свои последние снаряды...

А «Потемкин» решительно уклонялся от боя; «Потемкин» — могучий, почти непобедимый броненосец Черного моря, сдался в полной боевой готовности, со складами снарядов, достаточных для десятка морских сражений.

Это про него парижской буржуазной газетой «Le Matin» («Le Matin») были сказаны отмеченные В. И. Лениным слова: «Удивительное дело: революция завладела броненосцем и не знает, что с ним делать».

И все же даже среди бушующего революционного океана 1905 года «Потемкин» выступает гигантским видением. И это потому, что в «Потемкине» — ключ революции не только 1905 года, но и революции Октябрьской. «Потемкин» — это первая попытка русского крестьянства соединить свои действия с рабочим классом России. Где причина преждевременного выступления потемкинцев? Только казенные борзописцы царского правительства могли думать, что она — в червильном ямсе. Червильное ямсо было постоянным бытовым явлением в русской флоте, а восставшие корабли не каждый день прохаживались вдоль наших берегов. Причина морского восстания — береговая революция в Одессе. Если бы мяоножка не привела из Одессы вместе с червильным ямсом вестей об одесском восстании, потемкинские матросы, вероятно, ждали бы прибытия эскадры для осуществления общего плана восстания.

Но потемкинцы узнали, что рабочие восстали; среди команд находилось до 200 матросов, взятых правительством от станка, и они увлекли на помощь восставшим одесским рабочим остальных пятьсот, пришедших от соки.

Крестьянская масса, в лице потемкинской команды, впервые в истории русского революционного движения решила действовать совместно с рабочим классом. И бессмысленная провокация вить совместно с рабочим классом. И бессмысленная провокация офицеров «Потемкина» явилась уже простым следствием созрелого решения потемкинской массы.

И дальнейший ход Потемкинского восстания — это первые робкие, неуверенные шаги революционного крестьянства навстречу восставшему пролетариату. Оно идет к нему неуверенно, ошупью, как малый, только-что начинающий ходить ребенок, поминутно падая и тыкаясь носом об уходящую землю...

Просмотрите под этот угол зрения весь ход Потемкинского восстания, и вам станут понятными все его успехи и неудачи. Ибо в самом деле должны были делать — с точки зрения вечноной — матросы «Потемкина», овладевшие кораблем на Тендре? Спокойно ждать на Тендре прибытия остальной эскадры, всячески маскируя от правительства происшествие.

Вместо этого матросы решают немедленно идти в Одессу, потому что там восставшие рабочие, потому что необходимо начать путь, предопределенный всем ходом развития российской

революции крестьянству идти на смычку с рабочими.

Но этот шаг — прибытие в охваченную восстанием Одессу — властно диктовала необходимость довести до конца логику береговой революции. Воспользоваться первым замешательством властей и революционным настроением масс, высадить небольшой десант, вооружить мелкокалиберными пушками, пулеметами и ружьями рабочих, с помощью их и артиллерийского отряда с броненосца захватить город, образовать временное революционное правительство, облить переход земель в руки крестьянства, начать формирование революционной армии и приступить к выполнению всей этой программы, не теряя ни одной минуты, не оглядываясь назад, не дожидаясь эскадры, — вот что диктовала логика береговой революции и дальнейшего раскрытия внутреннего содержания Потемкинского восстания.

Это и есть та самая программа, которую начертали во время Потемкинского восстания Плеханов и Ленин.

«Как только „Потемкин“ пришел в Одессу, надо было высадить под прикрытием его пушек значительную часть его людей на берег и свезти туда же все то холодное и огнестрельное оружие, которое только можно было свезти, — писал в это время Г. В. Плеханов в своем „Дневнике“. — Матросы наскоро показали бы рабочим, как надо обращаться с этим оружием, внушили бы им кое-какие понятия о боевой дисциплине и, разделив их на ружьяны, стали бы в центре этих дружин и в качестве их военных руководителей. Благодаря этому, борьба рабочих с царским войском стала бы несравненно успешнее, и кровавые одесские дни составили бы эпоху в истории нашего революционного движения».

«Говорит, что восставшие матросы „Потемкин“ сочли необходимым дожидаться прибытия остальной эскадры. Но было ли это необходимо в самом деле? Ведь революционные события не ждут, и случай, упущенный сегодня, крайне редко возвращается по желанию упустивших его революционеров».

В. Свердлов указывает на такую же программу военного восстания в статье, напечатанной в „Пролетарии“ (№ 8):

«Если бы орудия броненосца были приведены в действие и одновременно в городе были бы возведены баррикады, вооруженные мелкокалиберными пушками, снитами с броненосца, — войска были бы вытеснены из города...».

«Такая урок одесского восстания, — писал В. И. Ленин, — во плоть революционный уже настроения он научит теперь решительный пролетариат не только бороться, но и побеждать. Несущие политические вопросы современного момента — восстание и революционное правительство».

Почему этого не было сделано?

И Г. В. Плеханов и В. И. Ленин тут чрезвычайно осторожны в своих суждениях:

«Повторяю, у меня слишком мало данных для того, чтобы я позволил себе решительно высказаться обо всем этом», — пишет в той же статье Г. Плеханов.

«Тут есть большая доля правды, — пишет В. И. Ленин, по поводу цитированного выше замечания газеты «Le Matin». — Мы повинны, спора нет, в недостаточной организованности революции. Мы повинны в слабости сознания некоторых социал-демократов насчет необходимости организовать революцию, поставить восстание в число неотложных практических задач, пропагандировать необходимость временного революционного правительства. Мы заслужили то, что нам, революционерам, делают теперь буржуазные писатели упреки по поводу плохой постановки революционных функций. Но заслужил ли этот упрек броненосец „Потемкин“ — мы не решимся сказать».

Тем удивительней, что целый ряд товарищей, изучающих историю потемкинского движения и имен теперь в своем распоряжении исчерпывающие материалы, не сумели вскрыть настоящих причин поражения Потемкинского восстания.

Все эти товарищи исходят в своих суждениях из перлюстрированного жандармами письма Мохова:

«Бунд и Всеобщий рабочий союз матросов¹ в первый день предлагали бомбардировать город и затем высадить десант. Представители организаций высказались против бомбардировки, найдя это жестоким. Тогда матросы отказались высадиться до прихода остальной эскадры».

Основываясь на этих сообщениях Мохова, целый ряд товарищей, пренебрегая историческим материалом, делают вывод, что все дело в меньшевиках, заседавших на броненосце, которые не сумели развить должной революционной тактики.

«Меньшевики Кирилл и Фельдман, — пишет Н. Андеев², — при всей своей революционности и некоторых организаторских способностях, всей своей предшествующей практикой не были подготовлены к большевистской тактике, которая необходима была для успешности восстания».

«Что касается тех социал-демократов, которых судьба связала с „Потемкиным“, — пишет С. Шрейбер³, — то они несмотря на организационно революционные качества, тоже дали маху в организационном отношении. Ни в воспоминаниях Кирилла («Одиннадцать лет спустя»), ни в воспоминаниях Фельдмана («Потемкин-Таврический»), ни в воспоминаниях Фельд-

¹ См. Ленин, т. VI, стр. 235—276.

² Такой организации даже не существовало в Одессе в 1905 г.

³ Такой организации даже не существовало в 1905 г. — История революционного движения в отдельных очерках, под редакцией М. Н. Покровского, т. II.—«От января к октябрю», стр. 223. Изд. Ком. ЦИК и Истпартия.

⁴ «Потемкинские дни 1905 г. на Черном море», изд. Комиссии ВУЦИК'а по празднованию 20-летия революции 1905 г. и Истпартиотала.

сии. Несомненно, что это лишь первая, слабая попытка, но... „лиха беда — начало“, — говорит пословица...».

«Потемкин» и был этим началом — началом длинного революционного действия, получившего свое завершение в октябрьские дни 1917 года.

В этом великое значение Потемкинского восстания.

В. Бухгольц.

ПОТЕМКИНЦЫ В ГЕРМАНИИ ¹.

Когда в Берлине впервые была поставлена фильма «Броненосец Потемкин», я вместе с аудиторией «Апполо-театра» с глубоким волнением следил за событиями, с такою яркостью восставленными перед нами на экране. И во мне, который во время Потемкинского восстания жил в Германии и которому пришлось быть связанным с некоторыми из его участников, эта фильма пробудила рой воспоминаний. Этими воспоминаниями я хочу здесь поделиться с читателями.

1.

Прошло уже два месяца после Потемкинского восстания, когда ко мне зашла Мальвина Марковна Мрост, в то время активный член «Группы содействия Российской Социал-Демократической Рабочей Партии» в Берлине, и сказала, что ей для крайне важной цели необходимо достать немедленно 1 000 рублей и просила моей помощи. Она рассказала мне о судьбе, постигшей юного одесского товарища, Константина Фельдмана, который должен быть предан военному суду и единственный приговор, которого можно ожидать, — смертная казнь через повешение.

В Одессе жили два брата Фельдмана. Они были озабочены спасением брата от ужасной участи и решили попытаться устроить его побег. С этой целью один из них поселился под чужим именем в Севастополе, где К. Фельдман содержался в тюрьме.

¹ Автор настоящих воспоминаний Вильгельм Адольфович Бухгольц, родившийся в 1886 г., германский подданный, уроженец г. Оренбурга. В 1887 г. за участие в студенческих беспорядках был исключен из петербургского университета. В 1888 г. за участие в новых университетских беспорядках был послан на родину в Оренбург, в 1891 г. выехал за границу. В 1893—95 гг. учился в университете в Цюрихе. В 1895 г. был делегатом от русских рабочих (Изабелло-Вознесенская) на международном социалистическом конгрессе в Лондоне. В 90-х годах был берлинским представителем «Союза русских с.-д.» и главным посредником по сношениям «Союза» и группы «Освобождение Труда» с Россией. В 1900 г. вступил в группу «Искра». В 1908 г. вошел в состав Бюро Берлинской с.-д. группы, а потом в состав Загря. бюро РСДРП.

Во время империалистической войны г. Бухгольц принадлежал к немногим немцам с.-д., знавшим открыто враждебную позицию к войне и во избежание ареста вынужден был эмигрировать в Швейцарию.

В настоящее время живет в Берлине, работает в немецких периодических изданиях, главным образом по социально-экономическим вопросам.

То, что произошло с потемкинцами, при германских порядках как довоенного времени, было явлением повседнежным. Германское правительство давало в порядке административных распоряжений двум немецким пароходным компаниям Гамбургско-Американской линии (в Гамбурге) и Северо-Американскому Ллойд (в Бремене) исключительные права по отношению к тем эмигрантам из соседних стран (России, Австрии, Румынии), которые направлялись через Германию в Америку. Агенты этих компаний, размещенные на важнейших станциях по пути обычного следования таких эмигрантов, имели право предложить железнодорожной полиции задержать их или лиц, которых по наружному виду можно было за них принять, и препроводить их в один из эмигрантских лагерей этих компаний.

По прибытии туда, эмигрантам предлагали взять от Гамбургско-Американской линии или Северо-Американского Ллойда билеты на проезд в Америку. Если захваченные в плен заявляли, что они направляются в Англию или Францию, или какую-нибудь другую из западно-европейских стран и не имеют никакого желания ехать в Америку, или же, если они действительно ехали в Америку, но уже имели билеты какой-нибудь другой заокеанской пароходной компании (многие друзья или знакомые из Америки присылали полученные там с уплатою в рассрочку более дешевые билеты голландских компаний), то это им ничуть не помогало. Им заявляли, что, если они не возьмут билета на проезд в Америку здесь, у данной компании, то они будут препровождены обратно на родину. Конечно, у большинства эмигрантов не было денег на оплату этих билетов, и им предлагалось обратиться к родным или знакомым с письменной просьбою о присылке необходимой для этого суммы, причем в ожидании ответа они в качестве пленников должны были жить в лагере пароходной компании. Если же такого рода русские «пленники» заявляли, что у них нет никого, кто бы мог прислать деньги на билеты в Америку, или если по истечении трех-четырех недель они ни откуда денег не получали, их беспощадно отправляли обратно к русской границе для передачи русским властям. Власть пародных компаний над иностранцами бедными выселенцами германского правительства мотивировало опасением, что массы бедняков, гонимых безвыходной нуждою из их стран, могут задержаться на долгое время в Германии. Для компаний эти пассажиры, заходявшие двинские (корабельные триумы), приспособленные для малейшего комфорта под четвертый пассажирский класс, были без малейшего комфорта в Америку были источником огромного дохода. По усердию, с которым агенты пароходных компаний старались уловить возможно больше жертв в свои сети, можно было заключить, что за свой улов они получали поштучное вознаграждение. Привилегированное положение этих двух пароходных компаний и беззащитность, с которой они продолжали пользоваться, несмотря на поход, открытый против них в печати и парламенте социал-демократическое партией, на-

ходило, вероятно, объяснение в том, что главным директором одной из этих линий (Гамбургско-Американской) был Балдин, который, несмотря на свое еврейство, был личным другом Вильгельма и советником в его личных финансовых операциях.

Вечером того же дня, как я получил сообщение Партерфор-штада об участии, постигшей потемкинцев, я отправился на Ангальтский вокзал и стал дожидаться прибытия поезда, в котором находились потемкинцы. Когда он прибыл, из одного из вагонов четвертого класса стали показываться их фигуры. Они были очень бедно одеты, и каждый из них имел с собою громадного размера мешок со всяким скарбом. Всего бывших потемкинцев оказалось 37 человек, двое из них вели с собою своих жен, урожденных русинок, и маленьких ребятшек. Эта необычная толпа, конечно, не могла не обратить на себя внимание балдинских коршунов. От сопровождавших ее агентов пароходной компании мне удалось узнать, что они их сейчас препроводят на Лертский вокзал и оттуда в тот же вечер — в Гамбург. Я поехал с тем же поездом в Гамбург. На следующее утро я присутствовал при их выгрузке из вагона и пригрозивших к их отправке в бараки Гамбургско-Американской линии. С вокзала я немедленно отправился в редакцию гамбургской социал-демократической газеты. Туда сейчас же по телефону были вызваны два видных представителя местной социал-демократической организации (они оба были, между прочим, и членами гамбургской городской думы). Они поехали со мною в эмигрантский лагерь, который находился в гавани на порядочном расстоянии от центра города. Мы были приняты директором лагеря. Мои спутники, указав на свое общественное положение, сказали, что имеют от лиц, озобоченных судьбою прибывшей сегодня утром партии русских, поручение позаботиться о их участии и оказать им содействие всем, что окажется необходимым. Мы ничего не сказали двум представителям дирекции, беседовавшим с нами о том, что такие прибывшие русские, так как считали положение потемкинцев в Германии чрезвычайно опасным. При тогдашнем отношении германского правительства к русскому можно было опасаться, что оно будет радо выдать России бунтовщиков, над которыми тяготеет обвинение в убийстве офицеров. Из разговоров директоров лагеря с нами мы вынесли заключение, что они еще не знают, кто такие те русские, о которых мы печемся. И нам заявили, что эти русские должны будут на пароходе их компании поехать в Америку. В ответ на это мы вежливо, но энергично заявили, что ехать сейчас в Америку они не хотят, а хотят ехать в Лондон, где у них имеются друзья, которые могут позаботиться о их дальнейшей судьбе, что на оплату дороги до Лондона у них имеются деньги, а что на оплату их путешествия в Америку потребовалась бы очень большая сумма, которой у них нет. Распорядители лагеря категорически повторяли, что прибывшие могут уехать только в Америку, и предложили нам позаботиться о том, чтобы деньги для оплаты проезда в Америку нашли. Нам, конечно, глупо

людей специального вагона?» — спросил он и, после нашего отрицательного ответа, сказал: «Если вы этого не сделаете сейчас же, то вам не удастся разместить их в поезде. Этот поезд всегда сильно переполнен, да и стоит на станции очень короткое время. Совет офицера был очень уместен, и без него выполнение нашей задачи очень осложнилось бы. С помощью офицера мы сейчас же исправили наше упущение».

Два полицейских офицера, появившиеся на этот раз, очевидно, ради большей торжественности, в белых перчатках, известили нас, что пришло время готовиться к посадке в поезд. А когда мы с нашей партией стали выходить из зала, то по пути из него до лестницы, ведущей наверх к платформе, очевидно, для защиты нас от всевозможных неприятностей, были выставлены по бокам цепи полицейских. К приходу поезда, с которым мы должны были поехать, на платформе набралось изрядное количество полицейских чинов. Они помогли нам найти прицепленный для нас вагон и, когда поезд двинулся, любезно махали нам вслед рукою в знак пожелания счастливого пути.

На следующий день мы прибыли во Флессинген, откуда пародолжен был в 12 часов ночи уйти в Англию. Самая большая опасность для наших потемкинцев, возможность выдачи их Германской России, была позади. Но могло быть еще затруднение при въезде в Англию. Правда, Англия разрешала свободный въезд политическим эмигрантам из других стран, но незадолго до этого она перестала впускать иностранных рабочих, которые хотели въехать в Англию, чтобы найти там работу. Между тем, наша партия по наружному виду производила впечатление именно людей, едущих в поисках работы. И теперь перед нами стала задача, прямо противоположная той, с которой нам надо было справиться в Германии. Там для нас было очень выгодно, чтобы наши потемкинцы производили впечатление уехавших на чужбину в поисках работы, и нам надо было всеми мерами не давать немецким властям догадаться, что пред ними политические эмигранты. А при первой встрече с английскими властями надо было, наоборот, произвести впечатление «политических». Но как нам поступить? Ни я ни т. Штуббе не владели английским языком, а при спешности наших сборов в дорогу мы не успели завладеть с собою в помощь товарища, говорящего по-английски. Между тем, в то время даже среди англичан, инуици классов трудно было встретить кого-нибудь, владеющего каким-нибудь иностранным языком. В этом мне пришлось убедиться во время второй моей недавней поездки в Англию, когда я заблудился на другой моей недавней поездке в Англию, я пытался получить указания у прохожих, но среди элегантно одетых центральных улиц Лондона не нашлось никого, кто бы понимал немецкий и французский языки, на которых я пробовал разговаривать. И только после долгих блужданий я набрал на рабочем-немца, который после, наконец, направил на верную дорогу. Поэтому, я дал теле-

грамму проживающему в Лондоне товарищу бундисту с просьбой утром прибыть в гавань, в которую должен был прибыть наш пародол. Но я не имел уверенности, что телеграмма его знает пародол. И что он или какой-нибудь другой русский товарищ успеет своевременно выехать из Лондона для нашей встречи.

Наши потемкинцы с их громадными мешками были для Флессингена неожиданным зрелищем. Сюда к английскому пародолу прибывал только скорый поезд с самой «чистой» публикой. Капитан пародола, сперва очень смущенный нашими пассажирами, решил, наконец, всю общую каюту второго класса отвести нашей компании, а всех «чистых» пассажиров, которые имели билеты второго класса, поместить в каюты первого класса. Мы с т. Штуббе решили, что, в виду предстоящей для нас на следующий день трудной работы и возможных осложнений, мы должны ночью хорошо отдохнуть и потому нашли более удобным также поместиться в первом классе, а не во втором, где не без труда разместилась вся наша компания. Они завладели своими телами и мешками не только все диваны, но и весь пол маленькой каюты. Мы посмотрели, как они поместились, и вышли на палубу, чтобы перед отходом ко сну еще немного погулять.

Когда мы ходили по палубе, к нам подошли двое из потемкинцев. «Наши беспокоятся, — сказали они, — куда же вы денетесь. Они думают, что вы остались на берегу, и не знают, что об этом думать». Я просил их сказать товарищам, чтобы они не беспокоились, что мы поместимся не с ними, потому что в их же интересах считаем необходимым провести спокойную ночь. Они вернулись к своим товарищам.

Надо заметить, что с потемкинцами в пути нам не удалось установить душевного контакта. С того момента, как они попали в сети баланцев, они, как видно, не могли себе вполне усвоить, что с ними происходит, и с кем они имеют дело. Они покорно слушались указаний, которые я им давал, но, когда я пытался с кем-нибудь из них заговорить, я чувствовал, что наталкивался на какую-то глухую стену недоверия. Каждый отвечал на мои вопросы односложно, уклончиво и явно был рад окончанию разговора. Видно было, что эти потемкинцы остались в Румынии прежними русскими крестьянами от сохи, сохранили глубокое недоверие ко всякому человеку из чужой для них среды.

Когда делегаты от потемкинцев ушли, и сказал т. Штуббе, что все же мы должны и сами пойти еще раз в каюту успокоить потемкинцев, которые, как видно, волнуется, думая, что попали в какую-то новую ловушку. Нам надо непременно опять показаться им и немного с ними поговорить.

Мы сейчас же спустились в каюту второго класса, но показаться там мы никому не могли, и говорить нам ни с кем не удалось. Не прошло и 5 минут с тех пор как с нами расстался делегат, а внизу в каюте мы застали уже одно спящее сонное царство. И вся волнувавшаяся масса и сама ее делегата уже успели

растянуться и заснуть самым крепким сном, о котором свидетельствовала всеобщий богатырский храп.

3.

На следующее утро, в 6 часов, мы подехали к Лондону. Схода с парохода, мы пристально осматривали берег, но, к нашему большому разочарованию, там не оказалось русских товарищей. Поезд в Лондон стоял уже по другую сторону платформы. Мы сказали потемкинцам, чтобы они быстро разместились со своими мешками по отдельным его малым купе. Хотя англичане и были, видимо, ошарашены необычайным для них видом потемкинцев и с удивлением таранили на них глаза, никто из них не помешал выполнению нашего стратегического плана, который был продан потемкинцами с необычайной быстротой и проворством. Мы с т. Штуббе также уселись в одно из купе, решив выждать, что будет дальше. Вдруг дверь в купе открылась, и два англичанина в железнодорожной форме начали нам что-то говорить. Мы, конечно, не поняли ни одного слова. Я заранее решил, что на все, что мне будут говорить англичане, я буду отвечать одним словом: «политикаль». По моему мнению, так по-английски должно было звучать слово: «политические», и в этом слове хотел дать понять англичанам, что мы ведем политических беженцев, которых Англия должна принять. Согласно этой моей программе действий, когда англичанин кончил свое обращение к нам, я сказал: «политикаль». Англичане переглянулись, и после этого один из них снова стал нам говорить что-то довольно долго и столь же непонятно. Мы его спокойно выслушали. Когда он кончил, я повторил: «политикаль». Англичане ушли, но минут через пять появились снова в сопровождении третьего англичанина. Непонятное обращение к нам повторилось. Каждым перерывом непонятное обращалось для того, чтобы произнести мое неизменно: «политикаль». Наконец, англичане захлопнули дверь и ушли, а скоро наш поезд тронулся. Для меня так и осталось тайною, что говорили нам тогда англичане.

Из моих прежних посещений Лондона у меня осталось в памяти, что поезд останавливается на различных вокзалах Лондона. Я вспомнил также, что раз мне пришлось известить одного знакомого, живущего в большом отеле, находящемся в том же здании, в котором находится вокзал Holborn Viaduct и что посещение этого знакомого мне было очень облегчено тем, что швейцар в котором находился вокзал сошел к поезду именно на этом вокзале с нашими потемкинцами сойти с поезда именно на площадке с нашими потемкинцами вверх по лестнице, и на площадке т. Штуббе. Прибыв на него, мы поднялись всю компанию под охраною т. Штуббе. Все же я оставил всю компанию и действительно говорил по-немецки сам пошел в отель. Швейцар же другого господина, находящегося в отеле, наш распорядитель, говорил только по-английски. Этот господин поговорил с кем-то по телефону, и швейцар сказал мне, что по его вызову из одного очень дешевого отеля при-

едут две фуры забрать нашу компанию. Через некоторое время эти фуры появились и с ними один очень энергичный молодой еврей, говоривший по-русски. Англичанин, отрекшись от оказания нам швейцаром, все время оставался при нас, стараясь оказать нам всевозможные услуги, и руководил нашими потемкинцами, когда они переносили и размещали свои мешки на фуры.

Когда я дал на чай швейцару отеля, молодой еврей, приехавший с фурами, сказал мне: «Не забудьте также дать пару шиллингов детективу». Человек, которого швейцар отеля предоставил в наше распоряжение, оказался детективом. Это шло вразрез с нашим континентально-европейским представлением о детективах: в них мы привыкли видеть всегда своих врагов, от которых ждали кучи неприятностей; здесь же детектив пришел к нам на помощь.

Отель, в котором мы приехали, видимо, раньше был приспособлен для приезжавших в Англию русских рабочих, а теперь, в виду прекращения иммиграции, оказался совершенно пустым, и товарищи-потемкинцы могли в нем свободно разместиться. Молодой еврей обратил наше внимание на надписи на стенах коридора на трех языках—английском, русском и еврейском жаргоне: «Плевать на пол строго воспрещается».—«Скажите нашим людям, что это правило они должны строго соблюдать. Только легко ли вам будет втолковать это им!—добавил он скептически.—С еврейскими рабочими, которые к нам сюда приезжали, у нас на этой почве происходили конфликты. „Что это значит,—говорили они,—я приехал в свободную страну и здесь не имею права плевать, куда хочу?“».

Устроив наших потемкинцев в отеле, мы с т. Штуббе на автомобиле отправились к нашему товарищу-бундисту. По нашей просьбе он сейчас же созвал на заседание по делу наших потемкинцев представителей всех русских социалистических партий в Лондоне, а также бывшего члена I Государственной Думы Аладина, члена партии трудящихся, имя которого, благодаря его думским речам, прогремело в свое время в России и Западной Европе. Он жил тогда в Лондоне, и партийные товарищи думали, что с его помощью легче будет добыть в Англии денег на дальнейший путь потемкинцев.

Мы с т. Штуббе и двумя делегатами от потемкинских матросов поехали на заседание русских товарищей.

Там под председательством Аладина было принято решение, что проживающие в Лондоне русские товарищи берут на себя все хлопоты, в том числе и добытые необходимых денег по отправке товарищей-потемкинцев в Канаду, и продержат их в Лондоне до их отправки.

После этого мы с т. Штуббе с облегченной душой вернулись в Германию, а через несколько месяцев я получил от товарищей-потемкинцев письмо с сообщением, что они, при содействии русских товарищей в Лондоне, попали в Аргентину, потому что отправка их в Канаду по каким-то причинам оказалась невозможной.